

## Вл. Гиппиус о русской литературе

Подготовка текста, вступительная статья,  
комментарии Т. Игошевой (ИРЛИ РАН)

Владимир Васильевич Гиппиус (1876–1941) принадлежал поколению старших символистов и выступал в культурном поле начала XX века в различных ипостасях: поэта, прозаика, критика, педагога.<sup>1</sup> В эпоху модернизма он был гораздо больше известен в профессиональных литературных кругах, нежели среди широкой читающей публики. Путь в литературе его был весьма непрост: он был отмечен как периодами, когда казалось, что поэт способен достичь славы соразмерной с другими своими современниками, так и периодами своеобразного «смирения», отхода от литературной деятельности.<sup>2</sup>

Параллельно со становлением оригинального творчества у Вл. Гиппиуса формировался и устойчивый интерес к истории литературы. С 1895 года он обучался на историко-филологическом факультете С.-Петербургского университета, где он проявлял особое внимание к литературе XIX века. Он специально изучал литературно-критическое наследие Пушкина, в результате чего им была написана работа «Пушкин и журнальная полемика его времени»,<sup>3</sup> в основу которой было положено сочинение «Пушкин как литературный критик», отмеченное в 1899 году в Петербургском университете

---

<sup>1</sup> См.: *Лавров А. В.* Гиппиус Владимир Васильевич // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 1. М., 1989. С. 565–566; *Тименчик Р. Д.* Владимир Гиппиус // Родник. 1988. № 4. С. 27–28; *Быстров В. Н.* Гиппиус Владимир Васильевич // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь. Т. 1. М., 2005. С. 480–482; *Биневиц Евг.* Гиппиус Владимир Васильевич // Литераторы Санкт-Петербурга. XX век. Энциклопедический словарь. Электронный ресурс. URL: <https://lavkarisateley.spb.ru/enciklopediya/g/gippius--530> (дата обращения 22.02.2022).

<sup>2</sup> Подробнее о перипетиях вхождения Вл. Гиппиуса в литературу см.: *Рыкунина Ю. А.* «Неизвестный поэт»: к проблеме литературной репутации Вл. Гиппиуса // Новый филологический вестник. 2012. № 1 (20). С. 74–86.

<sup>3</sup> Опубл. в изд.: Памяти А. С. Пушкина. Сб. статей. СПб., 1900; а также: Пушкин и журнальная полемика его времени. СПб., 1900 (Отд. оттиск «Записок Историко-филологического факультета С.-Петербургского университета»).

золотой медалью.<sup>1</sup> Был в его биографии и период, когда, по его собственному признанию, он «думал <...> заняться наукой в университете».<sup>2</sup> Об этом свидетельствует и Дело Совета Петербургского университета об оставлении его при университете на кафедре русского языка и словесности, составленное осенью 1901 года.<sup>3</sup>

В начале XX века Вл. Гиппиус начал публиковать свои подчас весьма острые рецензии и отклики на события современного ему литературного процесса.<sup>4</sup> Вместе с тем ряд его критических статей остался неопубликованным самим литератором и находится в архивном хранении, привлекая внимание современных публикаторов.<sup>5</sup> Помимо злободневных откликов Вл. Гиппиус выступал и в качестве историка литературы, создавая и публикуя литературные портреты писателей XIX века.<sup>6</sup>

По окончании университета Вл. Гиппиус поступил на служ-

<sup>1</sup> См.: Рыкунина Ю. А. К биографии Владимира Гиппиуса // Литературный факт. 2020. № 1 (15). С. 204.

<sup>2</sup> Гиппиус Вл. О самом себе / Подгот. текста, публ., послесл. Евг. Биневиича // Петрополь. Литературная панорама. 1993–1996. СПб., 1996. С. 121.

<sup>3</sup> ЦГИА, ф. 14, оп. 1, д. 9612.

<sup>4</sup> См.: Гиппиус Вл. О новой точке зрения в русской критике // Мир искусства. 1900. Т. 3. № 13–14. С. 21–24; Гиппиус Вл. Разлив благодущия // Речь. 1913. 7 (20) апреля. № 95 (2407). С. 3; Гиппиус Вл. Русская хандра (Игорь Северянин Громокипящий кубок. Поэзы) // Речь. 1913. 24 июня (7 июля). № 169 (2481). С. 5; Гиппиус Вл. Гамлет революции // Речь. 1913. 12 (26) августа. № 218 (2530). С. 2; Гиппиус Вл. Корабль мертвецов // Речь. 1913. 21 апреля (4 мая). № 107 (2419). С. 3. и др.

<sup>5</sup> См.: Гиппиус Вл. В. Ничтожные слова о ничтожных делах / Предисл., подгот. текста и примеч. А. Меца // На рубеже двух столетий: Сб. в честь 60-летия А. В. Лаврова. М., 2009. С. 422–434; Кобринский А. А. Владимир Гиппиус: правда и поза (Приложение: Гиппиус Вл. В. «Отчаявшиеся и очарованные») // Вячеслав Иванов. Исследования и материалы / Отв. ред. К. Ю. Лаппо-Данилевский, А. Б. Шишкин. СПб., 2010. С. 549–561; Рыкунина Ю. А. Владимир Гиппиус об акмеистах: «Учителя и ученики» // Литературный факт. 2017. № 5. С. 207–224.

<sup>6</sup> См.: Гиппиус Вл. Голубой и красный цветок (Памяти Гаршина) // Речь. 1913. 24 марта (7 апреля). № 95 (2407). С. 3–4; очерк, посвященный А. И. Полежаеву: Гиппиус Вл. Одна из затерянных могил // Речь. 1913. 7 (20) февраля. № 37 (2349). С. 2–3; Гиппиус Вл. Правда любви (к шестидесятилетней годовщине со дня рождения В. Г. Короленко) // Речь. 1913. 15 (28) июля. № 190 (2502) С. 4; Гиппиус Вл. Памяти Помяловского (5 октября 1863 г.) // Речь. 1913. 5 (18) октября. № 272 (2584). С. 3–4; Гиппиус Вл. Мечта о счастье. К столетию со дня рождения Н. В. Станкевича // Речь. 1913. 27 сентября (10 октября). № 264 (2576). С. 2; Гиппиус Вл. Документ сердца (к столетию со дня рождения Н. П. Огарева) // Речь. 1913. 24 ноября (7 декабря). № 322 (2634). С. 2 и др.

бу штатным преподавателем петербургской женской гимназии М. Н. Стоюниной. С 1906 года служил штатным преподавателем в Тенишевском училище, где дослужился до поста директора. Свою педагогическую деятельность он мыслил высоко: как «средство общественного воспитания»,<sup>1</sup> служение «делу общественного обновления России».<sup>2</sup> Не случайно учившийся у него Мандельштам назвал его в «Шуме времени» «формовщиком душ и учителем для замечательных людей».<sup>3</sup> А профессор С. А. Венгеров считал, что Вл. Гиппиус – «один из самых выдающихся петербургских преподавателей русской словесности. <...> Выдающийся успех Гиппиуса-педагога, помимо дара изложения, заключается именно в том, что, восторженно разясняя художественные красоты творчества великих писателей наших, он, вместе с тем, с одушевлением зовет своих учеников к красоте нравственной, к общественности, к религиозному, в истинном смысле этого слова, пониманию назначения человека».<sup>4</sup>

Мандельштам также зорко подметил особое «домашнее» отношение Вл. Гиппиуса к русской литературе: «Начиная от Радищева и Новикова, у В. В. устанавливалась уж личная связь с русскими писателями. Желчное и любовное знакомство. С благородной завистью, ревностью, с шутивным неуваженьем, кровной несправедливостью...».<sup>5</sup> Отношение к литературе у Вл. Гиппиуса действительно было страстное и даже пристрастное: «надо всем стояла влюбленность в литературу», – признавался он в автобиографии.<sup>6</sup> «Домашность» же, отмеченная Мандельштамом, выражалась, помимо прочего, и в том, что оценки Вл. Гиппиуса не укладывались в академические определения и характеристики, что сближало его с «новыми прочтениями» русской литературы, предпринимаемые в начале XX века Мережковским,<sup>7</sup> Волынским, Брюсовым, Андреем Белым, Вяч. Ивановым и другими символистами. Вл. Гиппиус не терпел

---

<sup>1</sup> *Гиппиус Вл.* О самом себе. С. 127.

<sup>2</sup> Там же. С. 121.

<sup>3</sup> *Мандельштам О. Э.* Собр. соч. В 4 т. Т. 2. М., 1993. С. 375.

<sup>4</sup> Русская литература XX века. 1890–1910. Под редакцией профессора С. А. Венгерова. Кн. 1. М., 2000. С. 257–258.

<sup>5</sup> *Мандельштам О. Э.* Указ. соч. С. 391.

<sup>6</sup> *Гиппиус Вл.* О самом себе. С. 120.

<sup>7</sup> Д. С. Мережковскому посвящена отдельная статья: *Гиппиус Вл.* Литературно-общественная смена // *Голос жизни*. 1915. 25 февраля. № 9. С. 15–19.

благодущия и успокоенности в литературе и выше других качеств ценил бунт и возмущение, взрывавшие «твердеющие или уже отвердевшие частицы»<sup>1</sup> бытия.

Довольно заметная часть наследия Вл. Гиппиуса посвящена литературе и литераторам XIX века. Помимо вышеназванных «портретов», посвященных В. М. Гаршину, А. И. Полежаеву, В. Г. Короленко, Н. В. Станкевичу, Н. Г. Помяловскому, Н. П. Огареву, Ап. Григорьеву и др., в Рукописном отделе ИРЛИ в фонде Вл. Гиппиуса находятся на хранении тексты, посвященные Пушкину, Кольцову, Тургеневу, Толстому, Лескову, Хвоцинской и др. Часть из них написана в жанре актовой речи. Дело в том, что в Тенишевском училище существовала традиция публично отмечать различные литературные «юбилеи». По всей видимости, на подобного рода мероприятиях Вл. Гиппиус и выступал с публичными лекциями, посвященными тому или иному писателю. Необходимо отметить, что ни одна из них по своему характеру не является формальной, ни в одной из них нет общих мест или риторических банальностей. Подготовка каждой из них предшествовало историко-литературное исследование, кропотливый анализ, вполне самостоятельная «оценка и переоценка» творчества того или иного литератора.

Критическая и историко-литературная работа для Вл. Гиппиуса различались как самим материалом, так и подходом, приемами анализа. Современная литература, считал он, «есть сама над собой критика», поскольку «современный поэт обнаженно идеен, про него уж не скажешь, что он не ведает, что творит: он всегда может объяснить, что им сказано; он, собственно, не нуждается в критике как в способе отвлечения от поэтического организма – заключающегося в нем смысла».<sup>2</sup> В отличие от современной литературы русская словесность XIX века, по мнению писателя-модерниста, не обладает подобной явно выраженной концептуальностью, поэтому она нуждается в толковании, объяснении. Так, в актовой речи, посвященной столетию со дня рождения Кольцова, и примечательно названной «Смысл кольцовской песни», он писал о том, что этого поэта «только академически оценили, помещали в хрестоматии или перелагали

<sup>1</sup> *Гиппиус Вл.* О самом себе. С. 123.

<sup>2</sup> ИРЛИ, ф. 77, ед. хр. 159. «Тоска по жизни» Статья о современной поэзии (конец XIX–начало XX веков»). Черновой автограф. 1910?. Л. 4.

в романсы».<sup>1</sup> Собственную же роль Вл. Гиппиус-историк литературы понимал как промежуточную между академическим и народным освоением творчества писателя: своим толкованием он, по его собственному определению, стремился «врезать личность Кольцова и его удивительные песни в сердце русской интеллигенции».<sup>2</sup>

В каждом из русских писателей, о котором ему приходилось писать или говорить, он стремился раскрыть своеобразные, отличительные черты, свойственные именно ему и никому другому. Но в гораздо большей степени его интересовал источник, из которого исходило литературное творчество, потому что подлинное творчество, по глубокому убеждению Вл. Гиппиуса, всегда – результат «святого беспокойства»,<sup>3</sup> душевного горения писателя. В связи с такой постановкой вопроса личность писателя интересовала его, в конечном счете, более, чем собственно результаты его творчества. Такой подход к портретированию писателя он продемонстрировал, например, в недатированном (но написанном, судя по всему, вскоре после 1910 года) сочинении, названном им «Личность Толстого». Он открывает его словами: «Не о достоинстве художественных произведений Толстого буду я сейчас говорить и не излагать его моральные или общественные взгляды: но о его внутреннем существе, его личностном бытии, котором насквозь проникнуто все, что он писал...».<sup>4</sup> В актовой речи «Смысл кольцовской песни» личность поэта также выдвинута на первый план. Кольцов, вызывавший у современников насмешки своей внешностью («Неуклюже одетый, не умевший держаться, со смешным мещанским говорком»<sup>5</sup>), внутренне, по Вл. Гиппиусу, «сгорал таким знойным, таким кипящим внутренним огнем, по сравнению с которым даже пламенность Белинского или Герцена была лунным мерцанием».<sup>6</sup>

Один из излюбленных приемов Вл. Гиппиуса – стремление пробиться сквозь устоявшиеся оценочные формулы, применяемые по отношению к тому или иному писателю, и добраться до его подлин-

---

<sup>1</sup> См. наст. изд. С. 208.

<sup>2</sup> См. наст. изд. С. 208.

<sup>3</sup> Этой цитатой из стихотворения Н. А. Некрасова «Уныние» (1874) Вл. Гиппиус назвал одну из своих опубликованных статей: «Святое беспокойство» (Речь. 1913. 15 (28) мая. № 130 (2442). С. 2).

<sup>4</sup> См. наст. изд. С. 232.

<sup>5</sup> См. наст. изд. С. 208.

<sup>6</sup> См. наст. изд. С. 209.

ной сущности. По отношению к Кольцову, по словам Вл. Гиппиуса, «только снисходительно оцененному»<sup>1</sup> своими современниками, подобными формулами стали шаблонные выражения: «поэт самоучка», «поэт-прасол», «певец радостей и горестей крестьянской жизни».<sup>2</sup> Определениями же, которые способны вскрыть истинный характер творчества Кольцова, по мнению Вл. Гиппиуса, являются совсем другие: «огненная душа» поэта, «стихийный размах сил», – вот существенные свойства поэта, которые он сумел прозреть сквозь избитые определения «поэта-самоучки» и «крестьянского бытоописателя». Не внешнее, а глубоко внутреннее, потаенное в личности поэта интересовало Вл. Гиппиуса, дававшего Кольцову столь неординарные, отчасти поэтические характеристики: «Натура очень страстная, кипящая силами и порывами через край. В его страстности чувствуется иногда стихия буйная до демонизма, вроде Рогожина или Мити Карамазова, но по большей части – ясная, солнечная, прозрачная».<sup>3</sup>

Для того, чтобы почувствовать в поэте этот скрытый двигатель его песенного творчества, историк литературы должен был обладать тем свойством, которое Ап. Григорьев в свое время назвал восприимчивостью.<sup>4</sup> К этому и призывал Вл. Гиппиус, обращаясь, например, к разбору кольцовской песни «Если встречу с тобой...». Он писал о ней: «Вот эта “песня”, на очень простой сюжет, т<о> е<сть> это только любовная песня, но какими бледными, вялыми и бессильными кажутся после нее даже лучшие любовные стихотворения лучших поэтов, *если только суметь воспринять ее* <курсив наш – Т. И.> во всей ее внутренней первобытной силе, и каким поразительным покажется тогда это переживание любви, как какой-то смертельно опаляющий и в то же время жизнерадостной до высшего направления силы».<sup>5</sup> Не случайно у Вл. Гиппиуса-филолога появляются фразы, типа: «Надо вникнуть в эти слишком примелькавшиеся образы...»,<sup>6</sup> которыми он призывает к восприимчивости и своего слушателя, и читателя.

<sup>1</sup> См. наст. изд. С. 209.

<sup>2</sup> См. наст. изд. С. 213.

<sup>3</sup> См. наст. изд. С. 210.

<sup>4</sup> Подробнее о принципах «органической критики» Ап. Григорьева в критических работах Вл. Гиппиуса см.: *Игошева Т. В.* Вл. В. Гиппиус-критик в свете «органической критики» Аполлона Григорьева, наст. изд. С. 179–197.

<sup>5</sup> См. наст. изд. С. 211.

<sup>6</sup> См. наст. изд. С. 224.

В процессе выявления «смысла кольцовской песни», Вл. Гиппиус приходит к выводу: «Чувство жизни – вот основной нерв, основной стимул, вся мудрость кольцовского сердца, кольцовской песни». <sup>1</sup> «Чувство жизни» – это то, чего «нет в психологии русских интеллигентных людей, и чего они так беспомощно ищут»; <sup>2</sup> это кольцовское «особенное, ему свойственное жизнеощущение, принесенное им и унесенное с собой». <sup>3</sup> Обнаруженное Вл. Гиппиусом «чувство жизни» (чувственное и мистическое одновременно), присущее Кольцову, в разные периоды его творчества было наполнено различным конкретным содержанием: радостью жизни; сомнением и скепсисом; религиозной верой, к которой он пришел под конец жизни. Вл. Гиппиус искренне восхищен кольцовским «чувством жизни», поскольку «это то, что он принес из недр некультурной среды, необессиленной интеллигентской культурностью, умствованиями». <sup>4</sup> «Чувство жизни» – источник и сердцевина личности Кольцова – на протяжении всей творческой жизни оставалось, по определению Вл. Гиппиуса, «святым огнем» <sup>5</sup> его поэтической души: «он мог изменить в своем жизнеотношении мистическому началу, но не мог изменить жизненному, которое до конца оставалось для него “святым огнем”. Это была основа его души, его природа». <sup>6</sup> Завершает актовую речь, посвященную русскому поэту из народа, фраза: «Я верю, что пробуждение русского общества наступит тогда, когда в нем проснется это кольцовское чувство жизни». <sup>7</sup> Достаточно глубокий разбор, предпринятый в «Смысле кольцовской песни», интересно сравнить с тем, что Вл. Гиппиус написал о Кольцове в своей ранней (не опубликованной самим автором) статье 1898 года «Золотой век. Из писем к иностранцу». В ней предпринят обзор литературы XIX века и фигуре Кольцова уделено совсем немного места: «Кольцова поняли узко. Его “народность” только форма для наивных, издалека слышных и далеко звенящих песен. Если он воспевал крестьянские “рады и печали”, родился с их интересами, то он этим

---

<sup>1</sup> См. наст. изд. С. 212.

<sup>2</sup> См. наст. изд. С. 208.

<sup>3</sup> См. наст. изд. С. 211.

<sup>4</sup> См. наст. изд. С. 231.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> Там же.

только на каждый звук призывной жизни отзывной песней отвечал. Он не ограничивал своего кругозора их интересами, он тосковал в глубине “темных лесов” и в степи-матушке по каким-то вечным вопросам (мы имеем в виду, конечно, не его ученические “Думы”), подобно всем певцам из народа, он плакал по какой-то невозможной воле и не находил исхода. Он пел свои песни в небывалой ему одному принадлежавшей форме, которая возникла и умерла вместе с их певцом: совершенствование ее невозможно, до того слились с содержанием их однообразные и вольные звуки». <sup>1</sup> Характеристика Кольцова здесь – самая общая, еще без тех «открытий», которые будут сделаны позже, в «Смысле кольцовской песни». Между тем в «Золотом веке» у Вл. Гиппиуса уже интуитивно возникало ощущение, что творческая личность Кольцова больше, чем просто певца «радостей и печалей» народных, но вместе с тем он еще не смог точно сформулировать, по каким именно «вечным вопросам» тосковала душа Кольцова («по *каким-то* вечным вопросам», «он плакал по *какой-то* невозможной воле»). А спустя десятилетие в своей речи 1909 года он сумел уже достаточно детализированно вскрыть загадку кольцовской тоски и плача.

Аналогичный подход (сквозь внешнее к глубоко внутреннему) предпринят и в работе Вл. Гиппиуса «Личность Толстого». Суть личности этого писателя он определил так: «вечное беспокойство, а не вполне достигнутый покой». <sup>2</sup> Если в отношении Кольцова ключом к пониманию личности поэта стало понятие «чувство жизни», представляющее в его лирике разными гранями в разные периоды его творчества, то в отношении Толстого Вл. Гиппиус выдвигает ключевые, по его представлениям, понятия искренности и инстинкта. Он уверен: «История его творчества более чем какого-нибудь другого писателя, есть его исповедь, история его личной жизни». <sup>3</sup> Рассматривая разные периоды жизни Толстого, он подчеркивает, что «инстинкт страстей», которым был охвачен молодой Толстой, сменился у него «нравственным инстинктом», а еще позже «религиозным инстинктом»: «Толстой и есть прежде всего эта гениальная сила

<sup>1</sup> *Гиппиус Вл.* Золотой век. Из писем к иностранцу / Вст. ст., подгот. текста и коммент. Ю. А. Рыкуниной // Русская литература. 2018. № 1. С. 112.

<sup>2</sup> См. наст. изд. С. 236.

<sup>3</sup> См. наст. изд. С. 233.

искренности, искренности, в которой сильнее всего говорил реалистический инстинкт. Но как натура глубокая и не способная удовлетвориться только реальным, позитивным, он рвался к религиозному жизнеотношению. Принять религиозное отношение к жизни при его искренности, это значило для него найти в себе религиозный инстинкт, а не принять только религиозные идеи». <sup>1</sup> Итог, к которому, по мнению Вл. Гиппиуса, приходит Толстой, «не способный, по свойству своей природы, принять истину внежизненную, признает, что смысл жизни находится в ней самой». <sup>2</sup> Представление о борьбе «инстинкта жизни» и нравственными интуициями в личности Толстого также вынашивалось Вл. Гиппиусом еще со времен статьи «Золотой век», где он писал о романисте XIX века: «Мучимый с самого начала своей деятельности непобедимой рознью между человеческим инстинктом и христианской моралью, с душой первобытного человека, стиснутой в современные, плохо привившиеся на русской почве условия европейской жизни, для нас – может быть – слишком культурной, неудовлетворенный и раздраженный, он наконец на старости лет разгадал себя и решил “прикрепиться к земле”, вернуться к идеалу первобытного человека, которого он носил в глубине души». <sup>3</sup>

Совершенно особое отношение у Вл. Гиппиуса сформировалось к Лескову, которого он считал одним из самых непрочитанных русских писателей. Не случайно еще в 1898 году он писал о нем: «Нам кажется, пора извлечь Лескова из пыли, прочесть и усвоить <...> Пора прочесть Лескова!» <sup>4</sup> Позже Вл. Гиппиус стремился разгадать Лескова также при помощи понятия «святое беспокойство»: «Было ли лесковское беспокойство – святым?» <sup>5</sup> О чем он беспокоился? <sup>6</sup> – вот вопросы, от которых отталкивался литератор начала XX века, начиная свое погружение в творчество автора «Очарованного странника».

С точки зрения Вл. Гиппиуса, «Художественные воззрения Лескова на жизнь русских людей определяется тем, что он искал среди

---

<sup>1</sup> См. наст. изд. С. 233.

<sup>2</sup> См. наст. изд. С. 235.

<sup>3</sup> *Гиппиус Вл.* Золотой век. Из писем к иностранцу. С. 118.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Сам Лесков употреблял выражение «лютое беспокойство» (*Лесков Н. С.* Собр. соч. В 11 т. Т. 6. М., 1957. С. 642).

<sup>6</sup> См. наст. изд. С. 249.

них праведников».<sup>1</sup> Лесковские «поиски праведников» автор начала XX века осмыслил в качестве магистральной его творческого пути. Сначала поиски праведника велись в среде нигилистов (романы Лескова о «новых людях» – «Некуда» и «На ножах»). Затем – в простонародной крестьянской среде, еще позже – среди инородцев и представителей иных вероисповеданий. Все пришедшие к христианскому идеалу Лесковым понимались в качестве праведников.

В подборку публикаций вошла и статья, посвященная Н. Д. Хвоцинской, которая заметно отличается от текстов, в которых рассматривается творчество Кольцова, Толстого и Лескова. Эта разница объясняется в том числе и тем, что смысл творчества Кольцова, Толстого и Лескова рассматривается в рамках жанра актовой речи, а Хвоцинская, в отличие от них, – в статье, предназначавшейся для журнала «Дамский мир». Вл. Гиппиус высоко оценил творчество Хвоцинской, которая своим творчеством бросила «женский вызов» мужским фантазиям о «вечной женственности». Несмотря на то, что в статье отсутствует излюбленная оценочная лексика Вл. Гиппиуса, но, тем не менее, Хвоцинская также попадает в ряд писателей, живущих «святым беспокойством». Хотя у каждого из писателей это беспокойство свое: каждый, по Вл. Гиппиусу, так или иначе, был включен в процесс поиска истины и идеала.

\* \* \*

Тексты Вл. Гиппиуса публикуются по автографам, хранящимся в Рукописном отделе ИРЛИ в фонде 77.

Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами, при этом в некоторых случаях сохранено авторское написание, передающее стилистическую атмосферу и колорит эпохи.

---

<sup>1</sup> См. наст. изд. С. 249.

## Смысл кольцовской песни<sup>1</sup>

Сто лет прошло с тех пор, как родился этот необыкновенный поэт, и много лет с тех пор, как он умер, – но знаем ли мы его и ценим ли? Все знают громкое имя Кольцова, и кажется, никто его не читает, кроме детей, как басни Крылова. Он остается одиноким явлением гениального «поэта самоучки», «поэта – прасола», «певца радостей и горестей крестьянской жизни». Но для общественного нашего сознания он все еще чужой. Правда, были в критике попытки поднять его значение, но они оставались без влияния, ни один критик не врзал личность Кольцова и его удивительные песни в сердце русской интеллигенции. Зажигали Пушкин, Лермонтов, в некоторых кругах Некрасов, в других Тютчев или Фет, даже Надсон, но Кольцова только академически оценили, помещали в хрестоматии или перелагали в романсы.

И кажется, эта недооценка и это равнодушие, с которым встречен и его столетний юбилей – не случайны, потому что, может быть, все дело в том, что Кольцов выразил в своих песнях то, чего нет в психологии русских интеллигентных людей, и чего они так беспомощно ищут. Не прозвучат ли теперь, через много лет, после того как они раздались, эти песни для нас призывом к тому, чего мы ждались.<sup>2</sup>

Песни Кольцова прозвучали в первый раз в конце 20-х годов прошлого века, сначала в тесном кругу воронежских друзей, а потом очень скоро и в Петербурге, и в Москве, благодаря тому, что одним из воронежских слушателей случилось быть Станкевичу, земляку Кольцова, неожиданно узнавшего об его стихах. Недолго, не больше 15 лет звучали эти живые и дикие для интеллигентного уха песни в русской общественной среде 30-х годов, настроенной в духе немецкой метафизики, иногда очень морализующего склада. Одним они были несколько ближе, понятнее, для других они прозвучали совершенно чуждо.

Неуклюже одетый, не умевший держаться, со смешным мещанским говорком и с огненной душой, которую Кольцов редко проявлял, а по большей части стыдливо прятал, – он являлся изредка в столицах, униженно кланялся тем литераторам, у которых были покрупнее связи, простаивал часами в сенатских и министерских приемных по торговым тяжбам отца, стеснялся читать свои элемен-

тарные для слуха, привыкшего к сложной и утонченной пушкинской музыке, песни, казавшиеся только усовершенствованными подделками под народные песни Дельвига или свои расплывчатые для мысли, наострившейся на немецкой дуалитике, думы – и весь сгорал таким знойным, таким кипящим внутренним огнем, по сравнению с которым даже пламенность Белинского или Герцена была лунным мерцанием. Он мелькнул в этой насыщенной отвлеченными рассуждениями среде, только снисходительно оцененный и ушел скоро совсем, как загадка, замученный дома в Воронеже, местным темным царством, 33 лет от роду.

Мы не знаем подробностей первоначального развития Кольцова. Знаем только, что образование его было слишком ничтожно, так как он учился всего два года, а затем стал помогать отцу в его торговых делах. Отец был мещанин-приобретатель, сначала торговавший, главным образом, скотом и развивавшийся временами тысяч до ста. Он вел дела крупно, но, по-видимому, беспорядочно, оказался, в конце концов, в долгах и принужден был отвечать по суду. Всю эту торговую суету и дразги переживал с ним с ранних лет сын, который и познакомился в столицах с литературными кругами, приехав хлопотать по отцовским делам. Он никого не знал, вначале был очень робок, всегда презираемый как мещанин-приказчик из комедии Островского. Единственно к кому он мог обратиться за помощью, были писатели, и он часто пользовался влиятельными связями Жуковского, Вяземского или Одоевского для торговых дел. Это было тяжело, и он понимал всю оскорбительность таких отношений и брезговал ими, и продолжал пользоваться этими услугами, находясь в безвыходном положении, понуждаемый отцом.

Среда, в которой он родился, вырос, и с которой не мог порвать до конца своих дней, была невежественная, грубая и жестокая. Ряд образов из Островского встает перед читателем писем Кольцова, писанных из родительского дома к столичным друзьям-писателям. Отец, владевший собственным домом и довольно большим капиталом, который увеличивался и упрочился хлопотами сына, не давал ему ничего и третировал его. Воспользовавшись его услугами, стоившими сыну великих усилий и насилий над собой, он отказывал ему и в средствах, и в уважении. Литературные занятия и связи его были только предметом насмешек и дома, и во всем Воронеже не-

смотря на покровительство Жуковского. Когда сын тяжело заболел, отец не давал ему денег на лечение; когда он наконец умирал на его глазах, он, живя с ним в одном доме, даже не заходил к нему, а когда навещал, то Кольцов не только читал в его глазах нетерпеливое ожидание смерти, но и выслушивал совет – лучше скорее умереть, чем рассчитывать на него. Одна из сестер сначала, подчинившись умственному влиянию брата, была на его стороне, но и она, выйдя замуж за купца того же типа, как и отец, изменила брату и вместе с другими сестрами помогала отцу в этой безобразной травле, единственный смысл которой была денежная корысть. Только мать жалела и старалась, сколько могла, защищать и помогать сыну, но это было робкое, безличное и забытое существо, без голоса, без влияния и потому – беспомощная в своей жалости.

Письма Кольцова, где он рассказывает обо всех этих отношениях, – тягостная драма, которую нельзя читать без слез, более тягостная, чем драмы Островского, потому что там простые и добрые люди, здесь – гений, человек исключительной душевной глубины и впечатлительности, с сжигающей жаждой жизни и с стихийным размахом сил. Если среда, в которой жил Кольцов, была среда Островского, то личность самого поэта не вмещается в размере самых одаренных и энергичных из героев его комедии. Он умер рано. Его душевное содержание развивалось случайно, урывками, не полно, оно и выразилось, наверное, не вполне, поэтому трудно определить его с точностью, но не может быть сомнения, что это была натура очень страстная, кипящая силами и порывами через край. В его страстности чувствуется иногда стихия буйная до демонизма, вроде Рогожина или Мити Карамазова, но по большей части – ясная, солнечная, прозрачная. Личность Станкевича и его философия, разумеется, оказали влияние на Кольцова, но какое, в точности – неизвестно, потому, прежде всего, что и сам Станкевич, несмотря на популярность его влияния, не определился еще вполне для нашего общественного сознания, а во-вторых, мы не знаем и того, чем был Кольцов для встречи со Станкевичем в 1830 году. От этой эпохи остались только его первые стихи, большей частью очень слабые и банальные. Однако среди этих стихов, написанных еще до встречи со Станкевичем, есть одно такое, которое указывает уже на оригинальность и личности, и таланта. Стало быть, Кольцов нашел себя еще до интеллигентных влияний.

В этом стихотворении выражается в первый раз то чувство жизни, которое и было, судя по всем его позднейшим, самым совершенным песням и думам, его особенное, ему свойственное жизнеощущение, принесенное им и унесенное с собой.

Вот эта «песня», на очень простой сюжет, т<о> е<сть>, это только любовная песня, но какими бледными, вялыми и бессильными кажутся после нее даже лучшие любовные стихотворения лучших поэтов, если только суметь воспринять ее во всей ее внутренней первобытной силе и каким поразительным покажется тогда это переживание любви, как какой-то смертельно опаляющий и в то же время жизнерадостной до высшего направления силы.

Я думаю, что для интеллигентных людей эти стихи прозвучат глухо и банально.

Если встречу с тобой,  
Иль увижу тебя,  
Что за трепет-огонь  
Разольется в душе!

Если взглянешь, душа,  
Я горю и дрожу,  
И бесчувствен и нем  
Пред тобою стою!

Если молвишь мне что, –  
Я на речи твои  
На приветы твои  
Что сказать не сыщу.

А лобзаньям твоим,  
А восторгам твоим,  
На земле у людей  
Выраженья им нет!

Дева, радость души!  
Эта жизнь, – мы живем!  
Не хочу я другой  
Жизни в жизни моей.<sup>3</sup>

Особенно характерно для силы переживания звучат слова «я горю и дрожу...» и «бесчувствен и нем...», и потом переход: «а лобзаньем твоим, а восторгам твоим» – как звонкий крик счастья, которое ребячески не знает удержу. И наконец, в последних словах заключена вся философия, вся основа кольцовской личности в прямом и открытом признании.

Это жизнь, – мы живем!  
Не хочу я другой  
Жизни в жизни моей!

Чувство жизни – вот основной нерв, основной стимул, вся мудрость кольцовского сердца, кольцовской песни. До философских влияний написан и «Совет старца», который, оглядываясь на прошлую жизнь, видит смысл ее только в молодости и молодом счастье:

Скучно с жизнью старческой –  
Скучно, други, в мире жить;  
Грустно среди пиршества  
О могиле<sup>4</sup> взглядывать<sup>5</sup>,  
И с седою мудростью  
К ней, наморщась, двигаться  
Поспевайте<sup>6</sup> ж, юноши,  
Наслаждаться жизнью!  
Отпируйте в радости  
Праздник вашей юности!  
Много ль раз роскошная,  
В год весна является?  
Много ль раз долинушку  
Убирает зеленью,  
Муравою бархатной,  
Парчей раззолоченной?  
Не одно ль мгновение  
И весне и юности?

В другой песне старик думает только об одном, как бы воротить молодость.

Оседлаю коня,  
Коня быстрого,

Я помчусь, полечу<sup>7</sup>  
Легче сокола.

Чрез поля, за моря,  
В дальню сторону, –  
Догоню, ворочу  
Мою молодость.<sup>8</sup>

А непосредственно вслед за такими Советами и песнями старца Кольцов призывает к юношам самих юношей:

Дайте бокалы!  
Дайте вина!  
Радость – мгновенье,  
Пейте до дна!<sup>9</sup>

Эти советы и призывы перемежаются с эпическими картинами радостей крестьянской жизни, которую так близко видел Кольцов, сталкиваясь с нею в торговле. Все помнят, конечно, как

Ворота тесовы растворилися,  
На конях на саних гости въехали.<sup>10</sup>

Как войдя «в светлу горенку» и помолившись перед Спасом Святым, сели за набранные столы, на которых стояли полные блюда жаренных кур и гусей, пирогов и ветчины; и как принаряженная бахромой и кисеей молодая чернобровая жена целовала подруг и угощала гостей винами; угощал и хозяин «из ковшей вырезных брагой хмельною», угощала и хозяйская дочь с лаской девичьей медом сыченым, и как вдоволь напившись, наевшись, наговорившись о предстоящем урожае, позабавившись до полуночи, – разъезжались веселые по домам.<sup>11</sup>

На этом описании ни одного темного штриха, все радостно, обильно и счастливо.

И не только в праздник в гостях, но и в будни, на тяжелой работе крестьянин у Кольцова весел. Вот выходит он с сохой в поле, когда красавица заря загорелась в небе, и из большого леса встает солнце; в душе его веселье.<sup>12</sup>

Весело на пашне <...>  
Весело я лажу

Борону и соху,  
Телегу готовлю,  
Зерна насыпаю.  
Весело гляжу я  
На гумно из скирды,<sup>13</sup>  
Молочу и вею...<sup>14</sup>

Это веселье бессознательное, но не беспредметное и не беспричинное, под ним лежит радостное жизнеощущение и даже мировоззрение. Кольцовский крестьянин чувствует в растительных процессах великую и святую тайну; он знает, что, распахав землю, «Зернышку готовит колыбель святую»<sup>15</sup> и с увлечением поет о единстве земли, солнца и человека в физической работе:

Пашеньку<sup>16</sup> мы рано  
С сивкою распашем,  
Зернышку сготовим  
Колыбель святую.

Его вспоит вскормит  
Мать земля сырая;  
Выйдет в поле травка...

Не только травка, не только красота. —

Вырастет и колос,  
Станет спеть, рядиться  
В золотые ткани.

Земля и солнце не только рожают красоту, но и питают человека. — Дают жизнь, и поэтому так радостен труд:

Заблестит наш серп здесь;  
Зазвенят здесь косы,  
Сладок будет отдых  
На снопах тяжелых...

И из совокупности этих двух ощущений или мыслей, собственно, мыслей-ощущений, загорается в душе молитва.

Уроди мне, Боже,  
Хлеб — мое богатство!

Знал ли Кольцов крестьянскую жизнь такой, какой она действительно была, изображал ли он ее верно, сообразно действительности. Известно, что действительность эта была трудная, безрадостная и подневольная. Кольцов сам не был крестьянином, и смотрел на нее со стороны. Она была для него только предмет его любви, – поэтического тяготения, и, надо думать, что он то влекся к ней именно потому, что видел в ней огромную, светлую, непроявленную силу – живого чувства, в его младенческой свежести и напряженности, неотравленную, не обессиленную сознанием. Эта живая сила, сила солнца и земли, освещаемой и согреваемой солнцем, орошаемой дождями, дышащей росой, овеванной здоровым живительным воздухом. И напрасно поэтому было бы видеть значенье Кольцова в бытоописании крестьянской жизни, в поэтическом ознакомлении тогдашней интеллигенции с этой малознакомой средой. В этом обычном толковании делается уже та ошибка, что Кольцов и не был выходцем из этой среды, изображал ее как только близкий к ней, но не свой человек; но и еще важнейшая ошибка, что Кольцов изображал ее будто бы верно. Изображение крестьянской жизни у Кольцова даже там, где он говорит о горестях ее, – всегда идеализация, с точки зрения строгого реализма, порой, и сентиментальная, и, во всяком случае, романтическая.

Он любил эту среду, в сущности, также, как Пушкин «цыганский табор» или «кавказские аулы», Шатобриан «американских дикарей».

Но разница между ними и им подобными, с одной стороны, и Кольцовым, с другой, – в том, что те в тяготении к чуждому им первобытному состоянию выражали свою интеллигентскую тоску, безнадежную, потому – что эта психология непосредственной силы чувства была для них безвозвратно потерянным раем, – Кольцов носил этот рай в своем собственном сердце, если не всегда переживаемый, не всегда достигаемый, то всегда возможный. Если он не осуществлялся для Кольцова, то препятствия были вне его, а не внутри его, как для европейской русской интеллигенции.

Горьким сознанием этих внешних препятствий, роковым по их неодолимости и определяется содержание многих песен Кольцова. Иногда он выражает эти удалыя чувства, эти ощущения перегорающей внутри его воли манящей дали – на простых событиях обыденной жизни, на конкретных переживаниях, иногда отвлеченно, обобщенно.

Такие песни начинаются у Кольцова очень рано и идут наряду с идиллическими описаниями крестьянских радостей жизни. Они противоречат, по-видимому, идиллиям, но противоречие здесь только внешнее. На другой же год после «Крестьянской пирушки»<sup>17</sup> и «Песни пахаря», в которых оседлая и мирная жизнь труда над матерью-землею и веселого отдыха после веселого труда представлены в таком идеале, Кольцов дает в стихотворении «Удалец» другое настроение – отречение от идиллии, прямую ее антитезу:

Мне ли, молодцу  
Разудалому,  
Зиму-зимскую  
Жить за печкою?

Мне ль поля пахать?  
Мне ль траву косить?  
Затоплять овин?  
Молотить овес?

Мне поля – не друг,  
Коса – мачеха,  
Люди добрые –  
Не соседи мне.

Если б молодцу  
Ночь да добрый конь,  
Да булатный нож,  
Да темны леса!

Снаряжу коня,  
Наточу булат,  
Затяну чекмень,  
Полечу в леса!

Стану в тех лесах  
Вольной волей жить,  
Удалой башкой  
В околотке слыть.<sup>18</sup>

Правда эта песня неожиданно и нехудожественно разрешается в буржуазное примирение с жизнью:

Лучше же воином  
 За царев закон  
 За крещеный мир  
 Сложить голову!..

Но удалый мотив – ничем не стесняемой буйной воли – все более растет с каждым годом.

В другом стихотворении, писанном несколькими годами позднее, рассказывается, как молодой крестьянин ощутил в себе через край бьющую физическую силу и страстную потребность любви:

У меня ль плечо –  
 Шире дедова,  
 Грудь высокая –  
 Моей матушки.  
 На лице моем  
 Кровь отцовская  
 В молоке зажгла  
 Зорю красную.<sup>19</sup>

Та, которую он полюбил, и любовь к ней изображается тоже чертами былевыми:

Я ее хочу,  
 Я по ней крушусь:  
 Лицо белое –  
 Заря алая,  
 Щеки полные,  
 Глаза темные  
 Свели молодца  
 С ума разума...

Элементарно сильная и ничем непобедимая любовь сталкивается с неодолимыми препятствиями внешними: ее не выдают за него<sup>20</sup> замуж, так как он беден. Это безвыходное напряжение физических и душевных сил могло бы разрешиться и слабыми душами так часто разрешается трагически. Кольцовский герой отрекается от такого слабодушного выхода. Он идет из родного села на заработки, косарем, чтобы, набрать «пригоршнями золотой казны». И это решение пробуждает в нем сознание в себе силы и чувства беспредельного мирского простора, выраженное гениально взятым былинным напевом:

Я куплю себе  
Косу новую;  
Отобью ее,  
Отточу<sup>21</sup> ее, –  
И прости-прощай,  
Село родное!  
Не плачь, Грунюшка,  
Косой острою  
Не подрежусь я...  
Ты прости, село,  
Прости, староста:  
В края дальние  
Пойдет молодец:  
Что вниз по Дону  
По побережью,<sup>22</sup>  
Хороши стоят  
Там слободушки!  
Степь раздольная  
Далеко вокруг,  
Широко лежит,  
Ковылем-травой  
Расстилается!..  
Ах ты, степь моя,  
Степь привольная,  
Широко, ты, степь,  
Пораскинулась,  
К морю Черному  
Понадвинулась!  
В гости я к тебе  
Не один пришел:  
Я пришел сам-друг  
С косой острою;  
Мне давно гулять  
По траве степной,  
Вдоль и поперек  
С ней хотелось...

Раззудись, плечо!  
Размахнись, рука!  
. . . . .  
Зажужжи, коса...  
Засверкай кругом!

Зашуми, трава...  
. . . . .  
Поклонись, цветы...

С течением лет удалой мотив силы и воли звучит все мрачнее; не потому, что ослабевает сила, но потому, что внешние препятствия все теснее, все душнее стягивают ее своим кольцом, так что, наконец, неизбежно является сознание и своего рокового бессилия. Но это не отречение от жизни, не измена пламенной любви к ней, но только признание своей душевной неутоленности.

Огонь горит внутри и прожигает душу:

Долго ль буду я  
Сиднем дома жить,  
Мою молодость  
Ни на что губить?

Долго ль буду я  
Под окном сидеть,  
По дороге вдаль  
День и ночь глядеть?

Иль у сокола  
Крылья связаны,  
Иль пути ему  
Все заказаны?<sup>23</sup>

В другой песне того же времени:

Путь широкий давно  
Преде мною лежит;  
Да нельзя мне по нем  
Ни летать, ни ходить...  
Кто же держит меня?  
И что кинуть мне жаль?  
И зачем до сих пор  
Не стремлюся я вдаль?<sup>24</sup>

Поэт в отчаянии думает, что он лишен «крепкой воли» для того, чтобы быть тем, чем он внутри своих сил и был:

Чтобы<sup>25</sup> с горем в пиру  
Быть с веселым лицом;  
На погибель идти –  
Песни петь соловьем!

И в следующем стихотворении того же года:

Нет сил; устал я  
С этим горем биться,  
А на свет посмотришь –  
Жалко с ним проститься!

Доля ж, моя доля!  
Где ты запропала?  
До поры, до время  
В воду камнем пала?<sup>26</sup>

Но вдруг после этих слов безнадежности опять сила и размах:

Поднимись – что силы  
Размахни крылами...

И в стихотворении тех же дней «Тоска по воле»<sup>27</sup> после мрачного очерка бесплодно умирающей жизни, «не радующей удалой души», – эта удалая душа, сперва разливаясь в горьких воспоминаниях, разрешается все-таки бурным призывом:

Где ж друзья мои-товарищи?  
Куда делись? разлетелись?  
. . . . .  
Знать, забыли время прежнее –  
Как, бывало, в полночь мертвую  
Крикну-свистну им из-за леса:  
Аль ни темный лес шелохнется...

И они, мои товарищи,  
Соколя, орлы могучие,  
Все в один круг собираются,  
Поголять ночь – порошкошничать.

Друзья покинули, изменили, стремление к жизни разрешилось бессилием, но сильная душа не может кончить паденьем; она обращается к самой глубокой, и по природе своей неистощимой, силе:

Гой ты, сила пододонная!  
 От тебя я службы требую –  
 Дай мне волю, волю прежнюю!  
 А душой тебе я кланяюсь...

Для современного интеллигентского сознания этот призыв к «поддонной силе» звучит только риторически или просто непонятно, для Кольцова она имела живой смысл, призыв к ней не был поэтической фразой.

Жизнь как реальность конкретная, вещественная, материальная, и жизнь как таинственная нематериальная сущность ощущалась Кольцовым одновременно, тождественно и нераздельно. Он любил ее, разлитую вокруг себя, и он сам носил ее в себе, он чувствовал ее органически-неразрывной частью, которую хотят оторвать от живого целого. Он не мог не переживать этого разрыва мучительно-болезненно и в последних стихотворениях и выражена эта боль. Иногда это отрывание живого от живого становилось невыносимым, и он звал тогда «поддонную<sup>28</sup> силу», где-то глубоко зарытую на самом последнем дне души человека и души мира. И не об отречении от жизни, а страстной любви, страсти к жизни говорит он и в том единственном из своих стихотворений, в котором он призывает смерть. Но призыванье смерти и есть в этом случае только выражение сильнейшего утверждения жизни, сильнейшего выражения страсти к жизни, сильнейшее безвыходно отчаявшейся в возможности сгорать в ее живом огне:

Жизнь! зачем ты собой  
 Обольщаешь меня?  
 Почти век я прожил,  
 Никого не любя.

В душе страсти огонь  
 Разгорался не раз,  
 Но в бесплодной тоске  
 Он сгорел и погас.

Моя юность цвела  
Под туманом густым, –  
И, что ждало меня,  
Я не видел за ним.

Только тешилась мной  
Злая ведьма-судьба;  
Только силу мою  
Сокрушила борьба;

Только зимней порой  
Меня холод знобил;  
Только волос седой  
Мои кудри развил;

Да румянец лица  
Печаль рано сожгла,  
Да морщины на нем  
Ядом слез провела.

Жизнь! зачем же собой  
Обольщаешь меня?  
Если б силу Бог дал –  
Я разбил бы тебя!..<sup>29</sup>.

Напряженное чувство жизни, сказавшееся во всех стихотворениях Кольцова, выражал он то песней – художественно интуитивно, то думами идеологически; но основа и песен, и дум была одна: именно это чувство, поэтому разделение его стихотворений на принятые два отдела не имеет никакого значения и только вело к недоразумениям. Думы рассматривались всегда как что-то отдельное от песен, искусственное и надуманное, или навеянное со стороны. Однако сколько-нибудь внимательное чтение стихотворений Кольцова в хронологическом порядке, без предубеждений против Дум, покажет, что Думы начали писаться очень рано, вскоре после первых оригинальных песен, и что разницы между Думами и Песнями, по существу, не было.

Если та определившаяся мысль или те волнующие сомнения, которые являются содержанием Дум, были, действительно, навеяны немецкой метафизикой, то, стало быть, эта метафизика на самом деле отвечала кольцовскому жизнеощущению, потому что и песни,

и думы выражают то же радостное чувство жизни; в песнях просто как чувство в его конкретных произведениях и видоизменениях, в Думах как идейная формула или вопрос ума. Первая Дума относится к 33 году. До этих пор были написаны и «Крестьянская Пирушка», и «Песня Пахаря» и изумительная любовная песня, первая в кольцовском стиле («Если встречу с тобой...»). Во всех этих пьесах жизнеощущение Кольцова определилось с несомненностью. Начальные строки первой Думы («Великая Тайна») метафизически формулирует уже выраженную в песнях интуицию; но к ней присоединяется нечто иное – мука сознания, когда оно, пробудившись, развивает свою мучительную энергию в смущенных вопросах. Ощущение стало мыслью; но, становясь мыслью, оно разбивает единство непосредственного жизнеощущения, оно раскалывает это единство надвое, потому что для работы сознания требуется его двойственность. Вот формулировка мировоззрения Кольцова:

Тучи носят воду,  
Вода поит землю,  
Земля плод приносит;  
Бездна звезд на небе,  
Бездна жизни в мире;  
То мрачна, то светла  
Чудная природа....

Это сознание мира как великого и таинственного целого, кипящего жизнью; но вслед за этим сознанием и идут смущающие вопросы:

Старюсь в сомненьях  
О великих тайнах,  
Идут невозвратно  
Веки за веками;  
У каждого века  
Вечность вопрошает:  
«Чем кончилось дело?» –  
«Вопроси другога», –  
Каждый отвечает.

Смелый ум с мольбою  
Мчится к привидению:<sup>30</sup>  
«Ты поведай мыслям

Тайну сих созданий!»  
Шлют ответ, вновь тайный,  
Чудеса природы,  
Тишиной и бурей  
Мысли изумляя...

Что же совершится  
В будущем с природой?..<sup>31</sup>

Ответа нет. Земля и небо молчат. Для сознания человека нет выхода, кроме одного, – религиозной веры. В чувстве жизни Кольцова еще в том виде, как оно сказалось в таких песнях, как «Песня пахаря», заключалось не только ощущение реальное, но и мистическое, – не то, что нераздельно слитые, а еще неразделенные, как в древних мифических чувствах мира. Задав вопрос, поэт не отвечает на него прямо, но за своеобразным стилистическим приемом, – скрывающая последнее действие драмы, – говорит в заключительных словах «Думы» только об исходе драмы.

Что же совершится  
В будущем с природой?..  
О, гори, лампада,  
Ярче пред распятем!  
Тяжелы мне думы,  
Сладостна молитва!

Так религиозно и жизненно, так душевно прозрачно, просто и сильно разрешалась в душе этого воронежского купеческого сына та мука сознания, которая для всей европейской интеллигенции кончилась позитивизмом и атеизмом.

В знаменитом стихотворении «Урожай», написанном через два года после первой Думы, мы и имеем наиболее яркое отражение мифологического чувства природы как-то неожиданно сплетающегося с религиозным чувством даже в оттенке христианского культа. Надо вникнуть в эти слишком примелькавшиеся образы, проникнутые их мифологическим значением, чтобы оценить их смысл. У земли есть лицо, по которому стелется туман в красном пламени зари; разгоревшийся день подбирает этот красный туман с лица земли выше горного темени и сгущает его в черную тучу. А туча – не просто сгу-

щение тумана, она – живое существо, как земля и заря, и горы. Она, нахмурившись, думает о своей родине-земле, о том, как ветры (тоже живые существа) разнесут ее во все стороны. Она зовет на помощь силы грома и огня, и, ударяя, льется крупными слезами на широкую грудь земли. Солнце и земля сияют огнем и водой и рожают хлеб. От людского труда, солнца, земли и воды родится хлеб. Солнце, сила земли и земного труда уходит. Но огонь остается в душе человека, потрудившегося земле; в зимние темные дни этот огонь загорается жаркою свечой перед иконой Богородицы.<sup>32</sup>

Ощувив эти ощущения, пережитые и передаваемые Кольцовым, кажется, не сумеет современный человек: такими несовременными – земными и святыми вместе силами – они проникнуты. Теперь понятно станет, что Кольцову нужны были только некоторые философские термины, некоторая привычка к философской формулировке, а вовсе не самая шеллингианская или гегельянская философия. Выраженному так просто и глубоко, в реальных образах идиллий деревенского труда, Кольцов давал в своих Думах лишь идеологическую формулу, если только сомненья не одолевали души

Отец света – вечность;  
Сын вечности – сила;  
Дух силы есть жизнь...<sup>33</sup>

Да, вечная жизненная сила, сила огня и света внутри мира, – мы знаем уже об этом по песням поэта. В дальнейших строках первая мысль развивается: при помощи новых образов и философских терминов, слитых в одно целое:

Мир жизнью кипит.  
Везде Триединый,  
Воззавший все к жизни!  
Нет века Ему,  
Нет места Ему!  
С величества трона,  
С престола чудес  
Божий образ – солнце  
К нам с неба глядит...

То самое солнце, о котором говорится и в «Песне Пахаря» и в «Урожае».

И днем поверяет  
Всемирную жизнь.  
В другом месте неба  
Оно отразилось –  
И месяцем землю  
Всю ночь сторожит.  
Тьма на лоне ночи  
И живой прохлады,  
Все стихии мира  
Сном благославляет.

В царстве Божьей воли;  
В переливах жизни –  
Нет бессильной смерти,  
Нет бездушной жизни!

Жизнь не только жизнь, она одушевлена, смерть только процесс одушевленной жизни. В мире горит огненное начало, определяющее все, и надо всем торжествует. Так пламенно и прозрачно ощущение поэта. Он любил жизнь и любил ее любовью чувственной и мистической одновременно. Но пробужденное сознание, трагическое по своей природе, все глубже взрывает душу. Оно выражается в сомнениях, не доверяя непосредственным чувствам. В этом его назначенье. Органически стройная душа поэта все ядовитее отравляется мыслью. Вера подвергается все настойчивее и неотступнее ее страшным соблазнам. И поэт в тоске обращается опять к Тому, кто есть живое и личное воплощение его веры.

Спаситель, Спаситель!  
Чиста моя вера,  
<Как пламя молитвы!><sup>34</sup>  
Но, Боже, и вере<sup>35</sup>  
Могила темна!<sup>36</sup>

Сознание соблазняет самым решительным из своих соблазнов. Ты любишь жизнь, – говорит оно человеческому сердцу, – ты ощущаешь ее реально и мистически. Но ты умрешь и реально ощущать ее уже больше не будешь.

Что слух мой заменит?  
Потухшие очи?

Глубокое чувство  
 Остывшего сердца?  
 Что будет жизнь духа  
 Без этого сердца?

И опять ответа нет. На мир природы накинута завеса тайны. Выход из сомнений только в вере. Поэт уже это знает. Для мысли нет ответа, но верующая жизнь получит ответ самой жизни. И поэт, сосредотачиваясь в напряжении религиозной интуиции, успокаивает себя тем, что самое сомнение есть акт веры.

Прости же мне Спаситель!<sup>37</sup>  
 Слезу моей грешной  
 Вечерней молитвы:  
 Во всем она светит  
 Любовью к Тебе...

И чувство жизни не ослаблялось, а росло, ширилось, углублялось у Кольцова с каждым годом. Гимном жизни и ее неодолимым чаром надо назвать «Пору любви»,<sup>38</sup> написанную позднее этих дум-сомнений. Словно сама весенняя природа всем своим воздухом, звуками и цветами поет в этих словах поэта.

Весною степь зеленая  
 Цветами вся разубрана.  
 Вся пташками<sup>39</sup> летучими –  
 Певучими полным-полна;  
 Поют они и день и ночь.  
 То песенки чудесные!  
 Их слушает красавица  
 И смысла в них не ведает,  
 В душе своей не чувствует,  
 Что песни те – волшебные...  
 . . . . .  
 Стоит она задумалась,  
 Дыханьем чар овеейна...

«Овеейнная дыханьем чар» все напряженнее, все жарче разгоралась с каждым годом солнечная дума Кольцова. И если 9-го декабря 1840 года, за полтора года до смерти от заживо разрушившей его

болезни, среди людей, которые дожидаться не могли, когда он умрет, написан им «Расчет с жизнью»,<sup>40</sup> которую он готов был разбить с отчаяния, что она не исполняет во всей полноте всех своих обольщений, то буквально накануне этого дня, 8 декабря, он писал песню, где в ярких и как-то особенно упрощенных образах, словно бы под стиль былины о Дюке, Чюриле и Садке, с увлечением рассказывает именно об этих обольщениях жизни, как будто они все-таки исполнились, как будто жизнь не обманула его:

Много есть у меня  
Теремов и садов,  
И раздольных полей,  
И дремучих лесов.

Много есть у меня  
Деревень и людей,  
И знакомых бояр,  
И надежных друзей.

Много есть у меня  
Жемчугов и мехов,  
Драгоценных одежд,  
Разноцветных ковров.

Много есть у меня  
Для пиров – серебра,  
Для бесед – красных слов,  
Для веселья – вина!<sup>41</sup>

И в следующем году, за несколько месяцев до смерти, в таких порывистых и горячих словах вспоминал он о прошедшей жизни, обольстившей и обманувшей его:

Не весна тогда  
Жизнью веяла,  
Не трава в полях  
Зеленелася;

Не заря с небес  
Красовалася,

Не луна на нас  
Любовалася!

Нет! под холодом,  
Под туманами,  
Ты в объятьях жгла –  
Поцелуями!

Ночи темная,  
Ночи бурная  
Шли, как облачки,  
Мимо солнушка.

Вьюги зимняя,  
Вьюги шумная  
Напевали нам  
Песни чудные.

Наводили сны,  
Сны волшебные, –  
Уносили в край  
Заколдованный!<sup>142</sup>

Сам приговоренный к смерти он, откликаясь на другую, уже совершившуюся безобразную смерть того, кто его создал, – Станкевича, говорил об его знаменитом философском кружке, как о разгульном празднике молодости, счастья и силы, на котором самая печаль была счастьем, потому что и она открывала для души беспредельные просторы:

Под тенью роскошной  
Кудрявых берез  
Гуляют, пируют  
Младые друзья!

Могучая сила  
В душе их кипит;  
На бледных ланитах  
Румянец горит.

Их очи, как звезды  
По небу, блестя;

Их думы – как тучи;  
Их речи – горят.

Давайте веселья!  
Давайте печаль!  
Давно их не манит  
Волшебница даль.

И с мира, и с время  
Покровы сняты:  
Загадочной жизни  
Прожиты мечты.

Шумна их беседа,  
Разумно идет;  
Роскошная младость  
Здоровьем цветет.<sup>43</sup>

В этом изображении нет и намека на те муки мысли, которые Кольцов переживал от соприкосновения с молодыми и шумными друзьями. В душе остался только восторг, и чем глубже завязывались связи Кольцова с интеллигентным сознанием его времени, тем больше опасностей было для его младенчески прозрачной и стремительной души. Кольцов преодолевал все их своим стихийным чувством жизни. В самых последних своих стихотворениях, вероятно, под влиянием позитивного направления мысли его друзей, можно заметить потерю мистического чувства природы, но стихийное чувство радости жизни торжествует и в эти последние дни над всем. Осуждая романтическое пренебрежение к жизни, Кольцов не говорит больше о жизни мистически, но, становясь в зависимость от новых умственных впечатлений на реалистическую почву, – он и в новом жизнеощущении усваивает то, что соответствует его собственному:

...От души ль порою  
В нас чувство говорит,  
Что с жизнью земною  
Нет нужды дорожить?..

Всему конец – могила;<sup>44</sup>  
За далью – мрак густой;

Ни вести, ни отзыва  
На вопль наш роковой!

А тут дары земные,  
Дыхание цветов,  
Дни, ночи золотые,  
Разгульный шум лесов;

И сердца жизнь живая,  
И чувства огонь святой,  
И дева молодая  
Блестит красотой!<sup>45</sup>

Таким образом он мог изменить в своем жизнеотношении мистическому началу, но не мог изменить жизненному, которое до конца оставалось для него «святым огнем». Это была основа его души, его природа. Мы не будем теряться в догадках, чем стал бы Кольцов, если бы он остался жить, изменил ли он своему мистическому чувству безвозвратно. Несколько стихотворений 40-х годов, написанных, по-видимому, под влиянием новых веяний, шедших от статей Герцена и Белинского, во всяком случае, слабее прежних, тех, которые связываются с представлением о Кольцове, и неоригинальны, сохраняя только его основной лирический мотив, – признание жизни. Кольцовское в русской литературе и есть это чувство жизни, чувственное и мистическое одновременно и нераздельно. Это то, что он принес из недр некультурной среды, необессиленной интеллигентской культурностью, умствованиями. – Он сам стал читать книги и умствовать. Но ни то, ни другое не обессиливали его силы земли и солнца. Не заключая в своем непосредственном чувстве жизни чувства мистического, но одно лишь реалистическое, он, конечно, не был бы тем своеобразным и пророческим явлением, каким он мелькнул среди русского общества, не задев его глубоко. Но звуки кольцовских песен и дум раздались и прозвучали в полной мере в тот момент, когда они были звуками именно такого слитого и нерасколотого чувства, без которого человек холодеет и обессиливает. Отсутствием его, а потому – холодом и бессилием характеризуется европейская, а вслед за нею и послушная ее указаниям русская интеллигенция. Ей не достает потерянного ею на пути ее интеллигентного

развития силы непосредственного и живого чувства, которое любит жизнь и слышит в ней Бога жизни. Кольцов любил ее и слышал его, а наше чувство жизни или ослаблено, или болезненно раздражено, и мы разучились слышать в ней Бога,<sup>46</sup> поэтому мы не расслышали или не дослушали Кольцова.

Я верю, что пробуждение русского общества наступит тогда, когда в нем проснется это кольцовское чувство жизни.

### Личность Толстого<sup>47</sup>

Не о достоинстве художественных произведений Толстого буду я сейчас говорить и не излагать его моральные или общественные взгляды: но о его внутреннем существе, его личностном бытии, которым насквозь проникнуто все, что он писал и художественно и отвлеченно. Это и есть то, что врезалось в русскую и всемирную жизнь, своим умом, совестью, талантом, всколыхнуло всех, кто касался его, хотя бы мимоходом. Мы переживали ведь в дни предсмертной болезни Л. Толстого единственное в истории событие; под одной личностью жил весь мир. Но в эти дни только отчетливее выразилось то, что происходило в течение нескольких десятков лет: Толстой был самый известный человек во всем мире, наиболее широкого влияния из всех своих современников, как бы к нему, дружелюбно или враждебно ни относились. В эти дни все изумленно сознали этот факт, и очень многие из русских людей, утомленных и измученных тяжелыми обстоятельствами нашей общественной истории; с гордостью и чувством пробуждающейся веры в значение своей нации указывали на то, что это единственное влияние, единственное притяжение всего мира к одному лицу – было влияние и притяжение к себе русского человека.

Л. Толстой был несомненно ярко-национальное явление и по свойствам своей личности и таланта и прежде всего по силе своей искренности. Эта сила и притянула к себе весь мир.

Толстой – общепризнанный гений. Споря с ним, никто не отрицает его гениальности. Он гениален не только как талант, но и как человек, как характер. Сначала, когда он явился с первыми своими юношескими повестями в журналах 50-х годов, его дружно приветствовали; потом, по мере того, как перед глазами русского общества

вставали все ближе во весь свой рост его стихийно-неуравновешенный темперамент, причудливый характер и порывистый ум, его стремительная и неожиданная в своем течении идейность, его стали чуждаться, потом вновь были побеждены: 1) сперва широтой и силой его исторической и жанровой живописи, такой психологической и экспрессивной, сразу установившей за ним неоспариваемое значение одного из величайших мировых художников, а 2) затем очень скоро, вслед за этим, буйной силой его самопокаяния и религиозной проповеди; влиянием этой проповеди отмечена целая эпоха нашего общественного развития, – 80-е годы. Наконец, с Толстым стали спорить, спорить во имя нового религиозного идеализма. Толстого чуждались, Толстым увлекались и слепо подчинялись, с Толстым спорили и будут спорить. Мы живем, скорей всего, в эпоху спора с Толстым, только утихнувшего над его неожиданной (?) могилой.

Склонный лично к спору с ним, я сейчас во всяком случае не буду спорить. Вглядимся в него, независимо от наших идейных сочувствий и несочувствий в то вечное, что есть в нем, в его душу, которую он так мучительно и смело открывал всегда для всех, больше, чем кто-нибудь и когда-либо, и в художественных образах, и в отвлеченных рассуждениях, и в прямой исповеди. Смысл его признаний и рассуждений, и образов был всегда один и тот же, Толстой всегда был до конца и во всем субъективен, он не только высказывал свое отношение к тому, что он изображал, казалось бы, объективно, но он говорил о себе, воплощал самого себя и, кажется, только самого себя.

История его творчества более чем какого-нибудь другого писателя, есть его исповедь, история его личной жизни.

Толстой и есть прежде всего эта гениальная сила искренности, искренности, в которой сильнее всего говорил реалистический инстинкт. Но как натура глубокая и не способная удовлетвориться только реальным, позитивным, он рвался к религиозному жизнеотношению. Принять религиозное отношение к жизни при его искренности, это значило для него найти в себе религиозный инстинкт, а не принять только религиозные идеи. Как ум до конца искренний он не успокоился до тех пор, пока не открыл в себе тех ощущений, которые обуславливали религиозное жизнеотношение. Это было острое ощущение нравственных начал жизни, которое жило в нем всегда, но было заглушаемо всю его жизнь другими голосами, вер-

нее, одним другим голосом, но очень могучим, голосом жизни. Когда нравственный инстинкт превозмог в нем инстинкт страстей, тогда он назвал себя религиозным человеком. Пусть спорят с тем, что к ощущению нравственных начал жизни не сводится богоощущение, что оно шире и глубже. Толстой мог исповедовать только то, во что он действительно верил, что он реально ощущал. Он не мог принять для себя никакой фразы, тем более религиозной. Это не всегда могут сказать про себя его идейные противники. Жизнью своей молодости он показал, что значит искренно и последовательно жить только инстинктами жизни. Глубоко неудовлетворенный этой жизнью на пути искания вселенского ее смысла, он тем самым показал, что этот смысл не только в инстинктах страстей. Как темперамент мятежный и кроткий, он перешел от чисто реалистического инстинкта к религиозному, мятежно, мученически, в слезах и в молитвах тому, в кого он, по собственным его словам, не верил, но молился, так как не мог не молиться. Об этом рассказано в Исповеди, самой страшной из книг Толстого, потому что в ней говорится, что пережито тем, кто жил напряженной страстью к жизни и неудовлетворенный ею, стал искать религиозного смысла ее, которого раньше не знал и без которого жить не мог. Это был страдальческий переход, потому что Толстой не мог лгать перед собой ни на минуту, ни в одной мелочи, не мог принять то в свое сознание, что реально не ощущал. И потому-то вера, к которой пришел Толстой, стала такой силой, что она была живым ощущением, а не выдумкой, не мечтой. Пусть спорят, что богоощущение Толстого ограничено и недостаточно, как всякая живая сила, она имеет свой живой самостоятельный смысл. Кто хочет бороться с этим, должен бороться такой же силой непосредственного ощущения. Но у современных противников Толстого, как бы правы объективно они не были, нет той силы религиозного инстинкта Толстого, которой он будет притягивать, пока ей не противопоставят живой силы иного содержания, но равного напряжения. Вдумаемся же в смысл той душевной борьбы, которую Толстой пережил.

Когда мы теперь думаем о нашем великом писателе, нам, конечно, представляется старческий облик умудренного опытом и понимающего человеческое сердце, человека-пророка, который пронизательно и зорко охватил русскую жизнь во множестве ее проявлений, но не остановился на этом и обратился к ней с нравственным

поучением, проникновенным больше всего чистотой и силой своей убежденности. И никто не помнит Толстого в ту эпоху, которую он считал для себя потерянным раем, потерянным и, наконец, возвращенным. Толстой в старости, как он сам говорит, сознанием признал для себя правильным то, чем он был, по существу, в своей молодости. Недаром он начал свою литературную деятельность с изображения ранних возрастов человека и вовсе не из автобиографических целей, так как в «Детстве», «Отрочестве» и «Юности» вовсе не передаются факты его жизни, а в целях – изобразить привлекавшую его своей внутренней непосредственностью психологию молодости.

Толстой в психологии его молодости, в его первоначальных юношеских ощущениях – заслонен перед нами стариком-Толстым после долгой драмы совести пришедшим к оправданию непосредственного, которое он потом только углубил.

Толстой любит живую обыденную жизнь, он занят каждой его мелочью, каждой ее житейской и психологической подробностью, со всеми ее страстными и неразумными побуждениями, стремительными в своем весеннем разливе – ребячески пугливыми перед страданиями и смертью, вот что мы узнаем о писателе из его художественных произведений, об этом же узнаем и из биографии писателя; но Толстой постоянно и размышляет над этой жизнью, нравственно оценивает ее, об этом мы узнаем также, как из его творчества, так и биографии.

Непосредственный голос жизни и нравственный суд идут параллельно один другому, как будто мешая друг другу развернуться полностью. Правда, в ранних размышлениях своих он враждует со всем тем, что противоречит жизненной непосредственности, но с течением лет он все более склоняется к разрыву с реальной жизнью, к отрицанию за ней правды, к признанию правды внежизненной, и, в конце концов, дойдя до крайнего отрицания жизни и не способный, по свойству своей природы, принять истину внежизненную, признает, что смысл жизни находится в ней самой.

Эта драма непосредственного жизнеощущения и острого сомнения в смысле реальной жизни во имя высшего так называемого нравственного начала – драма всей жизни Толстого, принявшая живые образы в его творчестве, поскольку творчество великого писателя, а тем более такого страстно искреннего, как Толстой, неотделимо от жизни его личности. На этой драме в настоящее время надо осо-

бенно вдумчиво остановиться, т<ак> к<ак> русское общественное сознание в последние дни стало откровенно имморальным, сознательно или бессознательно принимая и оправдывая самоценность страстей. Непосредственный инстинкт жизни и нравственное сознание стоят друг перед другом как две стихии, обе страшной силы, обе космического значения и ведут спор. Что из них выдумка, что из них истина? И как примирить их, если они обе жизненны? В этом споре прожил всю жизнь Толстой. Этот спор он переживал не в уме, не в мечте, а в самой жизни, чувственно-бурно и до конца искренно, это была та жгучая дума, которая его сжигала, может быть, в те успокоенные года, когда он осел в идиллической обстановке Ясной Поляны, несмотря на его сумрачный вид, его седину и морщины. По крайней мере, неуравновешенный, мятежный стиль его старческих сочинений, это постоянное искание новых тем, выдавал какое-то вечное беспокойство, а не вполне достигнутый покой. Да, если Толстой был до конца искренен, если инстинкт жизни был в нем воистину стихией, он не мог считать этот спор ни в себе, ни в мире порешенным. И вот последний акт его воли, совершенный им за несколько дней до смерти, перед которым все остановились в изумлении, как перед какой-то неожиданностью, внезапностью, был акт мятежной воли. Глубокий старик с ослабевшими телесными силами бежит из дому, из Яснополянской идиллии и этим навсегда сказал всему миру, что он был мятежник, что он не достиг покоя. Удивительным и для многих отталкивающим казалось многолетнее противоречие толстовской жизни его вере. В недоумении стояло русское общество перед этим противоречием, потому что не верило словам Толстого, что он смирился. Но смирения не было, он был и остался мятежным. С мятежа начал, мятежом заражал сердца и мятежом кончил. И смерть застала его в час бунта, а не смирения, чтобы подтвердить эту правду, чтобы оправдать его великую искренность. Он возмутился и ушел, не имея уже телесных сил выдержать этот последний душевный порыв. Изменило слабое, состарившееся тело великой неугомонной душе, которая не посчиталась с бессилием старческого тела. И теперь Толстой остался на вечные времена, как святой, как праведник, потому что он не изменил правде своей души.

Толстой в молодости, с привычной точки зрения на старческую успокоенность его природы, совсем не тот Толстой, каким мы при-

выкли понимать в последние годы его жизни. Об этом свидетельствуют факты его биографии, опубликованные в последнее время и им самим проверенные. И как подтверждают их портреты писателя в ту эпоху. На некоторых, особенно на очень ранних, – это лицо очень сильного внутренне, но и очень тяжелого, даже мрачного человека, притом человека страстей, неугомонного и мятежного в своих страстях. И если взглянуть после этого в старческие портреты Толстого, то под морщинами и окладистой бородой, покрывшей все складки его лица и когда-то резко насмешливые губы, и особенно по пристальному взгляду его напряженных глаз, можно узнать юношу-Толстого со всей его неудержимой чувственностью и таким же неудержимым анализом.

В первоначальные годы своей жизни Толстой различает два момента, две эпохи. Первый – до наступления юности – эпоха непосредственной детской восприимчивости и резвости, отдавания себя всему, что сразу притягивает, без размышлений, без оценки. Второй, тот – который начинается пробуждением нравственного инстинкта и проникается этим новым инстинктом настолько же, насколько предшествующий инстинктом жизни, не уничтожая его. Жизнь не уступает своего места морали, но они с этого момента идут в душе вместе. С тех пор, – говорит Толстой, – началась юность.

Эта юность протекала бурно и беспорядочно. В ней не было ничего правильного и размеренного. Страстная во всех отношениях природа его, притом очень многосторонняя по своим влечениям, необузданная и безудержная, зовет переживать жизнь широко, без оглядки. Суровый голос морали врывается в эти нестройные голоса жизни и зовет к оглядке. Юноша не слышит его или только изредка. Всей интимной стороны переживаний Толстого, в которой, конечно, было много такого, что называется паденьями, мы не знаем, но знаем, что его юность была полна этим, и что дневник, где откровенно были записаны все эти молодые увлечения и неистовства, самоотверженно показанный уже позднее Толстым его будущей жене, едва не оборвал в ее душе чувства к жениху. Сюда входили, понятно, грубо и безудержные отношения к женщинам, и неумеренные попойки, и азартная карточная игра (едва ли не самая сильная страсть гениального юноши), и все это на фоне обычного внешнего, мелочного и тщеславного чувства жизни, слагавшегося в то мировоззрение, которое

определилось понятием *comme il faut*.<sup>48</sup> Все эти увлечения и искушения не оставляют Толстого очень долго, во всяком случае, до женитьбы на той, в которой он нашел сдержавшую его страсти силу самоотверженного женского обожания. Но до женитьбы, даже после того времени, когда будущий проповедник, казалось, жил одними общественными стремлениями, т. е. в эпоху его службы по крестьянским делам в 1861 г<sup>49</sup> и одновременно с этим – занятий в Яснополянской школе, он, забыв все, играл на билиярде, пока не проиграл такой большой суммы, что должен был выплачивать ее литературным трудом. Это была как раз повесть «Казачки»,<sup>50</sup> где писатель передает одно из самых своих чистых, но в то же время и совершенно стихийных увлечений простой казачкой, преклонение перед прелестью первобытного состояния, пантеистическое мировоззрение Ерошки – протест против европейской культуры, ее отвлеченного умствования и бегства от реальной жизни на высоты абстрактной мысли. Такой же тенденцией отмечены и некоторые другие произведения Толстого того времени, отражая его юношескую интуицию, которая уже предсказывала народническую идеологию, развитую в Яснополянском журнале.<sup>51</sup> Но природа Толстого многосторонняя. В юношеских увлечениях его не только одни чувственные стимулы. Нравственный инстинкт, как сказано, врывается в эти увлечения, пока как чужой и докучный, но умственные интересы говорят в нем тоже очень властно, юноша жаждет деятельности, но не знает, за что взяться, – до того он движется импульсивно, бессознательно. Живя в Казани, он решается поступить в Университет<sup>52</sup> и готовится на восточный факультет, но недостаточно усердно, с жаром отдаваясь в то же время развлечениям и страстям, строго помянув, однако, идеал *comme il faut* (он был связан со средой, из которой он вышел), появляясь на всех казанских балах, много танцуя, несмотря на большую застенчивость (следствие большого самомнения) и недостаточную природную грацию. Вследствие этого он должен был держать переэкзаменовки. В течение зимы на первом курсе опять развлечения, шумная внешняя жизнь, мешающая занятиям. Его оставили на второй год, и он, не желая оставаться, перешел на другой факультет.<sup>53</sup> И здесь он в первый раз заинтересовывается серьезно наукой и с любовью пишет большую работу по сравнительному праву, в то же время страстно нападая на оторванность и бесплодность для жизни университетского знания,

и не выходя из потока светских удовольствий. Пренебрежительное отношение к Университету превозмогло в нем интерес к работе, и он вышел из него, не окончив курс.<sup>54</sup> Он говорит, что Университет не удовлетворял его потребности знания. Он смотрел шире и искал большего. Была и еще одна причина выхода. Студент рвался в свою тульскую деревню, оттуда его привезли в Казань, он хотел заняться сельским хозяйством столько же, сколько и работать над самообразованием. В это время, т. е. как раз в момент пробуждения сознания, в нем произошло его отпадение от веры, догматической веры детских лет к такому же догматическому, мало коснувшемуся существа его души, банальному атеизму интеллигентного большинства, который, как указывает Толстой, именно не был прямым атеизмом, серьезным и мучительным отрицанием божества, а просто безразличным отношением к вопросам о сущности жизни. Ужас такого отношения, по глубокому определению Толстого, заключался в том, что оно соответствовало той жизни, которую он вел в течение многих лет, оно было как бы ее философией. Оно было так же бессознательно и так же искренно, как и детская вера: но той соответствовало наивное и чистое детство, – религиозному равнодушию беспорядочно страстная молодость. Жизненный инстинкт в эти годы говорил со стихийной силой, кричал громче всех голосов, пенил кровь и затуманивал совесть. В эти годы Толстой был человек жизни, человек страстей и изображал в своих сочинениях силу этих инстинктов. Великая стихия животной энергии была в нем через край, т<ак> как все, что заключалось в его природе, всегда было в кипении, всегда было безудержно порывисто и сильно, часто грубо, надменно, но всегда сильно. В нем говорила сама жизнь со всем ее чувственным горением и бурными противоречиями. А другая великая стихия – нравственная – пока робко уступала свое место первой.

Прожив после Казани лето в деревне, которое прошло в сельскохозяйственных увлечениях, Толстой приезжает в Петербург держать кандидатский экзамен<sup>55</sup> с очень формальным отношением к делу – неподготовленный, готовился к экзаменам за несколько дней, просяживая ночи. Здесь он вдруг решает остаться навеки, уверяя, что Петербург на него хорошо действует своим рабочим настроением, потом, неожиданно, очень ненадолго остановившись на вопросе, не поступить ли на военную службу, бросает и экзамены, и мечты о

военной службе, едет весной опять в деревню. Петербургская зима прошла в обычных развлечениях и увлечениях, в деревню он вернулся, наделав «пропасть долгов», соглашаясь с определением тетки, что он «самый пустяшный малый», хотя не без надежды на исправление. В деревню он привозит между прочим какого-то немца-музыканта,<sup>56</sup> пропивавшего свой талант, которым, однако, Толстой увлекся и отдается там под его влиянием новой страсти – музыке, тоже одной из самых сильных его страстей (впоследствии в момент крайнего отречения от жизни, он вступил и с ней в борьбу, как с искушением, в повести «Крейцера соната»<sup>57</sup>).

Здесь занятия сельским хозяйством, музыкой и наукой прерываются то кутежами, карточной игрой, цыганами, охотой (тоже одна из сильных и непобедимых его страстей), то порывистым и таким же необузданным самоанализом и самопокаянием, которые длятся целые месяцы и потом вдруг уступают неистовым призывам страстей. Он пишет дневники, в которых называет свою жизнь беспутной, совершенно скотской, жалуется, что она опустошает его душу, его ум, разоряет его матерьяльно и в припадке покаянья составляет для памяти «список своих пороков» и правильное распределение дня. Напрасно. Три года он прожил в совершенном чаду. Он перешел тогда едва за 20-летний возраст. Конечно, он мечется. В сознании путаница. Только безудержно зовет голос жизни. Он живет то в Москве, то в Ясной Поляне. Между прочим, цель одного из приездов в Москву была тройкая: 1) игра 2) женитьба 3) получение места. И не женившись, и не получив места, он в этот раз почувствовал отвращение и к игре, но ненадолго.

До какой степени прямо стихийно отдавался он потоку жизни, указывает одно из писем этого времени, где он говорит, что весной он обновляется душевно, так действует на него природа,<sup>58</sup> а значит, опять отдается старой жизни и не имеет той власти над собой, какую имеет над ним природа.

Затем, совершенно запутавшись в денежных делах, он пользуется случаем уехать на Кавказ, где сначала принимает участие в военных действиях в качестве волонтера, а потом вступив армию,<sup>59</sup> скоро попадает в Севастополь,<sup>60</sup> в момент Крымской войны, со страстью отдаваясь зрелищу войны и военным инстинктам.

Кавказская природа могущественно подчиняет стихийную природу юноши. Буйная жизнь страстей продолжается, но они становятся

ся, кажется, целомудреннее, и среди их разлива голос нравственного инстинкта раздается так слышно, что он говорит даже о религиозном сознании.

С природой Толстой чувствует себя всегда заодно. В природе он находит самого себя. Его неудержимый инстинкт жизни, не противореча смыслу природы, очищается в ней, освобождаясь от страстей. Он сливается с природой и смутно ощущает – не то в ней, не то в самом себе, слитым с нею, – Бога. Поэтому люди, близкие к природе, притягивают его неодолимо. Он записывает здесь в своем дневнике о загоравшихся в нем нежных, добрых и связанных с представлением о высшем смысле мира, чувствах, которые он сжигал в чувственной жизни города. Он молится Богу и ощущает к нему любовь, он читает молитвы, как в детстве, и становится чище сердцем. Но вот однажды в таком настроении он засыпает, – душевное напряжение прошло и опять в душе поднялись те же страстные инстинкты. Этой сменой двух инстинктов он и живет, и переживает ее с напряжением, с усилиями, наконец, с великой мукой, чем сильнее становится инстинкт моральный. Чрезвычайно знаменательно то положение, которое молодой писатель сразу занял при своем появлении в Петербургских литературных кружках, после окончания войны, как известный уже автор «Детства» и «Отрочества» и Севастопольских очерков.<sup>61</sup> Его талант признавали и перед ним преклонялись. Но он сам не мог слиться со своими сверстниками и поклонниками, людьми одинакового с ним общественного круга, образования и происхождения. Он сам рассказывает об этом, определяя ту общую точку зрения, на которой она тогда остановился, и ее различие от общепринятой в этом кругу: они исповедовали теорию прогресса, – указывает он, – а я не верил в прогресс. С этим неверием в прогресс Толстой совершал и свое первое путешествие по Европе,<sup>62</sup> только укрепившее в нем это органическое его предубеждение.

Что в культурном центре России Толстой мог найти только религию прогресса, это очевидно, так как религия прогресса есть действительно европейская популярная вера и до наших дней, но отсутствие веры в прогресс удивительна, и не потому, что это была новая и неожиданная мысль (идея эта была и не новая, и очень известная даже в русской литературе), но потому, что у Толстого это не могло быть идеей, он не способен был жить умственными построе-

ниями: отрицая прогресс, он отрицал его органически, в ощущении, и чувствовал себя сам в культурной обстановке чужим и недоумевающим, несмотря на долгое и верное служение кумиру *comme il faut*.

Он явился в русскую литературу живым отрицанием чувства исторической жизни: он знал и ощущал только природу вокруг и ее инстинкт в себе, который в нем боролся с другим, не содержащимся в окружающей природе, – нравственным.

Но осуществления этого инстинкта он не видел и в культуре.

Кроме природы, которая говорила с ним всеми своими явлениями и силами, он знал еще фатум, нравственный закон, смущавший его мучительно и властно, смущавший потому, что этот закон отрицал в нем его глубокий природный инстинкт непосредственной жизненности и страстей, отрицал его жизнь, и в то же время обаятельно манил к душевной чистоте, ясности и силе.

Конфликт непосредственного чувства жизни и абстрактного миропонимания был одним из основных вопросов нашей литературы; он сказывался и у Станкевича,<sup>63</sup> и у Лермонтова, и у Белинского, и Герцена, об нем художественно говорил и Тургенев. Но Толстой был чужд увлечения абстракциями. В нем также заявляло о своих правах непосредственное чувство жизни. Но, во-первых, оно было так реалистично, как ни у одного из его предшественников, исключая Пушкина, во-вторых, оно боролось не с болезнями души, хотя бы и очень затяжными, как рассудочный идеализм, но с живой же силой, роковой неизбежностью, древней и вечной, как человечество, нравственным законом. Религия прогресса, с этой точки зрения, была для него мертвой. В этой религии под прогрессом разумеется совокупность поступательного движения человечества, как целого или в отдельных его группах. Тот роковой спор, который мучил Толстого, совершается внутри нас. Это задача личная: личного падения или личного возвышения, сумма которых дает нравственное состояние человечества. Поэтому Толстой может говорить только о прогрессе личном, а не о прогрессе общественном, и гораздо позже, утверждая идею Царства Божия, идеальное состояние, как предельную цель человечества, проповедует путь личного нравственного самоусовершенствования и последовательно заключает, что это царство – внутри нас.

Вторичная поездка в Европу<sup>64</sup> окончательно разочаровала его в теории прогресса. Вернувшись домой, он обращается к педагогической деятельности – на началах противоположных принятым в Европе.<sup>65</sup>

Таким образом, практика Яснополянской школы была приложением определившейся у Толстого идеи, что мудрость не в культуре и не в культурных классах, раз их религия – мертвая и бессодержательная теория прогресса, а в потребностях нетронутой культурой народной среды. Статьи, напечатанные в журнале Ясная Поляна,<sup>66</sup> давали идейную формулировку этой практики и впервые идеологически выражали толстовское жизнеощущение. В эту идеологию нравственный инстинкт уже вошел как определяющая формула, но Толстой сам потом признавался, что действительной веры нравственную сущность жизни у него в эту эпоху еще не было: он только хотел верить, но не верил. Для человека не толстовской искренности такая вера была бы достаточной. Но Толстой не считал еще тогда, что он верит. И только страданиями мог прийти он и пришел, наконец, к полной вере в эту основу жизни, потому что слишком сильно говорил в нем другой инстинкт, совершенно отделенный в жизнеощущении Толстого от нравственного, а этот последний в то время все еще оставался для него только идеей, мечтой, а не живой реальностью, не мировой сущностью. Толстой остается еще в религии непосредственной жизни, которую он противопоставил религии прогресса, и Яснополянская школа служила также религии жизни. Поэтому-то, оставив, хотя и случайно, школьные занятия<sup>67</sup> и обратившись к художественной работе, он воплотил в новых и самых гениальных образах, хотя ему пришлось создать сначала напряжение пламенного жизненного инстинкта, в конце концов покоряющего себе все проявления нравственного анализа, воплотил с такой поэтической любовью, которая еще ни разу не сказалась в его творчестве; а потом еще более пламенное напряжение того же инстинкта, которому теперь уже противопоставлена ужасная власть нравственной кары за служение ему. Идеализацию непосредственного чувства жизни, утверждающего в себе самом свой собственный смысл, мы находим нежнее и ярче всего в образе Наташи Ростовской, более бледно и прозрачно – в образе ее брата Николая. Перед нами проходят и два других героя поэмы: Андрей Болконский и Пьер Безухов, которые, в противоположность

первым, размышляют над жизнью вообще, анализируют свою жизнь в ее непосредственных проявлениях, но один из них умирает, другой подчиняется духу Ростовых и сливается с ними. Дух Ростовых, простое чувство живой жизни, реальный инстинкт побеждает все мудрствования нравственного сознания; все душевные колебания Пьера разрешаются в радостном телесном ощущении ребенка, его и Наташиного, которого он держит на своей богатырской ладони.

Исторические движения, развертывающиеся в «Войне и мире», те движения, которые имеет в виду теория прогресса, ничто перед разумом частной семейной жизни, жизни органической. Они смешны в сравнении с ней и не нужны. Но если определять и их существо, они вовсе не направляются разумной волей отдельных одаренных единиц по высшим целям, они фатальны и стихийны, как вся жизнь, и двигаются бессознательным разумом народных масс, тех масс, у которых Толстой хотел учиться больше, чем учить их сам, и в которых единственно он найдет скоро живое богоощущение, утраченное людьми европейской культуры.

В следующем романе «Анна Каренина»<sup>68</sup> это сама чувственная душа Толстого, его страстность, инстинкт его плоти и крови, взятый в поэтизации аристократической обстановки и женской любви, со всей той инстинктивной внутренней борьбой, которую художник переживал сам. Каренина идет на голос страсти и влечет на этот голос, к себе и Вронского. Страсть владеет ими, но перед читателем все время неотступно стоит призрак совести, сторожащий двух преступников, преступных потому, что они шли на голос страсти, на голос жизни, не слыша другого голоса – нравственного закона, который и мстит за это служение страсти: как старый рок греческих трагедий он приводит преступницу к страшному самоубийству. А между тем Анна Каренина – тот же инстинкт жизни, как и поэтизированная Наташа Ростова, только в более остром напряжении страсти. Но нравственный инстинкт одерживал теперь в душе Толстого несомненную победу: очень скоро после «Анны Карениной», он и рассказал, с какой смертной мукой в нем, наконец, это совершилось.

Начинается последняя эпоха: Толстой уступает нравственному инстинкту, завладевшему, наконец, всем его существом. Но здесь-то и произошло самое замечательное и характерное для личности Толстого. Несмотря на всю смертную муку, которую ему пришлось пере-

жить, он вступил с нравственным законом, второй могучей стихией мира, в переговоры. Если ты есть истина, сказал он ему, ты должен быть смыслом жизни, содержащимся в ней самой. Он не мог, стало быть, признать нравственного закона, отдельного от жизни, – так глубоко верил он в разум жизни. Сначала, как он сам исповедуется, он под влиянием окончательно завладевшей его душой новой стихии, отверг жизнь и ее значение, но потом понял, что, отвергнув ее, нужно отвергнуть ее не умом только, но органически, т. е. умереть, лишиться себя жизни. Инстинкт жизни, разумеется, держал его, но выхода, казалось, не было. Тогда-то, оглянувшись на жизнь, во всем ходе ее с незапамятных времен до последней минуты, во всей сложности и множественности ее явлений, он сказал голосу нравственной стихии: раз жизнь есть, раз люди жили и живут, – в этом есть какой-то смысл. Какой же? Если ты, нравственное сознание, есть, существуешь (а я знаю, что ты есть: я чувствую такую реальную власть твою над собой, что не могу жить от сознания противоречия тебя и своей жизни!), если ты есть, и жизнь имеет какой-то смысл, ты и должен быть смыслом жизни, и вся мука моя в том, что моя жизнь противоречит тебе и все счастье людей в том, чтобы жизнь их была осуществлением тебя. Кто же так счастлив? Простой народ, воспитанный в церкви, из которой он вынес учение о тебе и веру в тебя, как в должный и существующий смысл жизни.

Так связались в сознании Толстого инстинкт жизни и нравственный инстинкт, такой же, как по убеждению его, она уже есть у простых, неразвитых по-европейски, чуждых европейского прогресса, людей, которые верят в волю Божью, т. е. нравственный закон согласует с ней свою жизнь. Так и нужно жить, так и нужно делать, а европейский прогресс не нужен. Это и есть религия Толстого и его общественное мировоззрение. Анна Каренина бросилась под поезд, Толстой также ходил с мыслью о самоубийстве, но нашел выход, он не погиб, он спасся и стал учить других тому, в правду чего теперь свято и жизненно верил. Теперь он знал, чему учить, – он поверил в реальное существование нравственной стихии, как раньше верил в жизнь. Эта стихия оказалась самым внутренним содержанием жизни. Реальное жизнеощущение сменилось моральным богоощущением, поэтому жизнь страстей Толстого органически кончилась, как раньше органически не могла кончаться и продолжалась.

Вот душевная драма его и вот ее исход, душевная драма не одного Толстого, он пережил ее только с гениальной силой искренности и напряжения – в большом масштабе. Размер личности Толстого поистине огромный. Я лично – несогласный с Толстым в его религиозных идеях – не могу читать без волнения его статей по этим вопросам, такая в них внутренняя сила, и этой силой полно все, что он писал в области и художественной, и общественной. Его литературную манеру всегда хочется характеризовать словами «рубит», «выворачивает деревья с корнем», «ворочает камни». Его стиль, подобно его душе, резкий, тяжелый.

Найдутся некие, которые скажут – неприличный по своей грубости, но никто никогда не откажет Толстому в подлинной, гениальной силе, никто не назовет его бессильным.

Пройдут века, придут совсем будущие люди, и иными чувствами будут жить, чувствами толстовского жизнеощущения, его всегда будут называть великим за силу его душевного напряжения. Его и в далекие будущие века иных чувств, иной жизни, чем ныне, его, как Шекспира, будут называть великим и потому еще, что сила его душевного напряжения, страстного и морального по своей природе одновременно была направлена на проникновение в трагическую жизнь человеческих страстей. В этом смысле Толстой был трагик, как в древности Еврипид, в новой Европе Шекспир, и в России по силе трагического проникновения в жизнь человеческого сердца ему равен один Достоевский.

Это трагическое сердцеведение вытекало из сущности толстовской личности, в том понимании ее, как и дан в этом очерке. Содержание этой личности было именно трагическое и глубоко мятежное. Мятежный ум был неразделен в ней от мятежного сердца, т<ак>к<ак> у Толстого все, что было в уме, воплощалось и в сердце. Его неуклонный, неуступчивый, иногда совершенно аскетический морализм, которым иногда до конца проникался, было бунтом против людской жизни, основанной на страстях, трагической вине человеческих страданий и бедствий; его анархическая доктрина, помеченная в общих чертах еще в его юношеской идеализации первобытного состояния и в педагогических начинаниях, направленных против принципов европейского образования, была также бунтом против всей современной культуры, основанной на лжи и насилии, его антицерковное ученье, к которому он рано пришел, после кратковре-

менного признания церкви как веры народной, было бунтом против доктрины, имевшей притязание давать имя не имеющему имя и окружать культом того, кто, по его мысли, выше всякого культа. И если он умел любить, то он умел и ненавидеть, и можно сказать, что он столько же любил людей, сколько и ненавидел, и кротости всепрощения в нем не было.

Но мятежнее всего в нем была его искренность, которая была мятежна тем, что ни с чем не считалась, кроме правды своей души и той вселенской правды, в которую он на самом деле до конца поверил и слил с правдой своей души. В этой пламенной и суровой искренности и <нрзб.> основное свойство его гениальности, его он привлекал к себе и заставлял себя слушать даже тех, кому он был внутренне чужд.

И действительно: были внутренне сильные люди, кроме Толстого, были трагики, равные ему, но не было, кажется, людей такой искренности, как он, и я верю, что это основное и глубочайшее свойство его гения есть на самом деле свойство национальное, русское, и не случайно поэтому было, что единственное в истории событие, когда именно русский человек притянул к себе все сердца, весь мир, когда в минуту его смерти весь мир жил одним чувством – любовью к великому русскому человеку.

## Лесков<sup>69</sup>

Для сегодняшней беседы с вами в праздничный день нашей гимназии – я решил выбрать Лескова.

Если бы я выбрал Толстого, Тургенева, Лермонтова, – я мог бы не объяснять почему. Вы все так привыкли читать эти имена рядом с подобными им другими – что ждали бы от меня только освещения какого-нибудь вопроса – нового, еще не затронутого, но самый выбор не возбудил никаких недоумений. Но почему Лесков? Разве это великий писатель. Чем он замечателен? И действительно, в нашем сознании с именем Лескова не соединяются наши представления, какие неизменно соединяются с именами Тургенева или Толстого, например. Имя Лескова известно очень смутно. Еще не так давно его смешивали с Лейкиным,<sup>70</sup> теперь уже забытым автором бытовых анекдотов. В ряду всем известных приложений к Ниве<sup>71</sup> его может

быть соединяют с Данилевским<sup>72</sup> или Станюковичем,<sup>73</sup> писателями не лишенными дарований, отнюдь не классических. Чаще всего Лескова соединяют с Печерским.<sup>74</sup> Лесковские «Мелочи архиерейской жизни»<sup>75</sup> или «Соборяне»<sup>76</sup> – для малоосведомлённого читателя легко смешиваются с изображениями быта раскольников у Печерского.

Такова несправедливость литературных судей. Печерский талантливый подражатель раскола – замечательный этнограф, но тоже не великий писатель. Лесков – один из величайших русских писателей. И такая именно оценка его все более, хотя и очень медленно, входит в нашу литературную критику. Все более оценивается Лесков как меткий наблюдатель, остроумный рассказчик, кажется, самый замечательный после Гоголя – как поэт подлинный, и еще выше того, как учительный.

Наконец, Лесков был одним из своеобразнейших людей в России – своеобразный ум<sup>77</sup>, своеобразный мыслитель. Человек совсем особого сердцебиения – сердца, бывшего страстью к правде и страстью к русской жизни и русским людям, и вообще по жизни к людям.

И не думается, что я преувеличиваю, может быть, из желания поднять оценку того, что оценено недостаточно, или из каких-нибудь личных пристрастий. Лично мое пристрастие к Лескову таково же, как и ко всякому настоящему поэту. Его поэзия очаровывает и остроумием, и изяществом, с одной стороны, и внутренней силой и правдой всякого, кто способен поддаться очарованию этой беспокойной самобытной души, и выразившего ее – беспокойного и в то же время чеканного стиля – столь удивительного, не всегда простого, иногда очень манерного – но в такой остроумной манере, кажущейся грубой, а в сущности, – играющей лучами и любви к народу, и лукавой насмешки над его смешным и пошлым. – Вся эта стилистическая прелесть Лескова – труднодоказуема, – скажу только, что об ней судили в старину слишком элементарно, – в старину, когда вопросы стиля были на ущербе, когда художественными принципами было даже отсутствие стиля. – Лесков был не только любитель стиля, но фанатик его, теперь сказали бы – стилизатор. Только разница между большим числом современных стилизаторов и Лесковым та, что особенность и даже нарочитость литературной манеры Лескова была игрой огромного и непосредственного дарования, своеволием большого мастера, а не проявлением художественного бессилия, чем

очень часто в наши дни блещут те посредственные стилизаторы, все маленькое искусство которых сводится к воспроизведению какого-нибудь чужого стиля.

Лесков был большой человек и большой писатель. И его стиль, кажущийся стилизацией, – свой, ни откуда не взятый. Многие из наших современников не отрекутся – назвать его своим учителем. Пройдут года, и Лесков в общем сознании станет писателем классическим. Все в нем было свое, особенное – и все было в существе своем не мирное, а тревожное, беспокойное. Великий поэт давно идеализировал эту черту в русских писателях и назвал ее «святым беспокойством».<sup>78</sup>

Было ли лесковское беспокойство – святым? О чем он беспокоился? Какая была святыня этой душевной тревоги – с той минуты, когда он стал писателем – и до последней минуты – минуты его смерти, когда у него внезапно выпало из рук перо. Он начал писать поздно, лет 30 – и писал в течение 35 лет без перерыва. Последнее полное собрание сочинений во многих томах все еще не полное. Он написал еще больше. И все написанное им неровное по художественному достоинству – проникнуто одним духом. Тем духом, которым проникнута вся великая наша литература, развиваясь в течение теперь уже прошлого века, – XIX. Духом правды. – Той человеческой правды, которая и есть правда бытия. И кто этого не видел в Лескове, тот сам был глух для этой правды. А в Лескове это видели два наши пророка – и Достоевский, и Толстой.

Художественные воззрения Лескова на жизнь русских людей определяется тем, что он искал среди них праведников. «Без трех праведных несть граду стояния»<sup>79</sup> – вычитывает он в Библии эпиграф к предисловию книги, так и озаглавленной «Праведники».

В этом коротком предисловии Лесков передает разговор, бывший у него с «одним большим русским писателем» – судя по всему – с Писемским. Лесков упрекнул Писемского в том, что он изображает людей – «один другого хуже и пошлее». Писемский ответил: «По-вашему, небось, все надо хороших писать, а я, брат, что вижу, то и пишу, а вижу я одни гадости...»

– Это у вас болезнь зрения.

– Может быть, – отвечал, совсем обозлясь, Писемский, – но только что же мне делать, когда я ни в своей, ни в твоей душе ничего, кроме мерзостей, не вижу...

На этом два писателя расстались. Но Лесковым овладело от слов Писемского: «лютое беспокойство»<sup>80</sup>: «Как, – думал я, – неужто, в самом деле, ни в моей, ни в его, и ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто все доброе и хорошее, что когда-либо заметил художественный глаз других писателей, – одна выдумка и вздор? Это не только грустно, это страшно. Если без трех праведных, по народному верованию, не стоит ни один город, то как же устоять целой земле с одной дрянью, которая живет и в моей, и твоей душе, мой читатель? Мне это было и ужасно, и несносно, и пошел я искать праведных, пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду хотя то небольшое число праведных, без которых “несть граду стояния”...»<sup>81</sup> Не устоять целой земле...

Кто же эти праведные? Есть ли они? Где они? Это не герой в истории – не избранники человечества, направляющие исторические пути, как думали вслед за немцами два великих англичанина,<sup>82</sup> но те люди, которые, стоя в стороне от главного исторического движения, сильнее других делают историю.<sup>83</sup> Эти слова историка Соловьева<sup>84</sup> – народная точка для Лескова.

Делатели истории – сильнейшие сильных, хотя и стоящие в стороне. Это пушкинская мысль, вложенная в идеализацию Гринева и Маши Мироновой. Это тот же бунт Толстого против культа всех больших и малых Наполеонов – за «мирных» людей, частных, в стороне стоящих – делающих внутреннюю историю страны. Не извне, пускай и принудительных волн, а изнутри органических потребностей и побуждений людей, презрительно названных немецкими романтиками филистерами, а русскими последователями романтиков – обывателями.

Лесков отправился искать праведных среди обывателей, среди людей заурядных, незаметных.

Не видеть, не найти среди них героев – «болезнь зрения».

Первые шаги в поисках Лескова были неудачны. В начале 60-х годов современнику трудно было разобраться – что праведно и что несправедно. Тайна русского нигилизма, над разгадкой которой бились такие зрячие – отнюдь не больные зрители, как Тургенев, Гончаров – и сам Достоевский<sup>85</sup> – едва ли тогда была разгадана. Едва ли она была признана во всем ее значении и самими носителями ее. Достоевский первый углубил тему нигилизма в Раскольникове, но в

то же время перенес ее в область мистическую, распространив ее до неузнаваемости. В «Бесах» Достоевский страшно ошибся – но в то же время что-то гениально понял.

Тургеневский Базаров стал предметом разбора среди самих нигилистов,<sup>86</sup> Гончарова высекли за Марка Волохова.<sup>87</sup> Лесков – запутался в оценке нигилистов, начиная первым романом об них «Некуда»<sup>88</sup> и кончая «Соборянами». Он потом сам сознавал, что запутался. Праведные были нигилисты или неправедные – т. е. русские революционеры, державшиеся в своей философии – позитивизма, а в морали – утилитаризма? Лесков осуждал их. Ему были чужды тогда их воззрения, и он пугливо относился к тем, кто их держался. И между тем, что-то ему в них нравилось, что-то в них влекло его к ним<sup>89</sup>. Так, как никогда никого из их судей. Может быть, он разгадывал сущность русского нигилизма, как никто в его время – именно потому, что он во всем искал праведности. Он разгадывал за их философией и моралью, за их иногда очень неуклюжими действиями – искание правды и любовь к людям. Он видел эту праведность – в самых заурядных и незаметных из них. Он не отрицал ни Чернышевского<sup>90</sup>, ни Добролюбова. Но он озлоблялся на гениальничанье мелких лицемеров, ни правды не искавших, ни людей не любивших. Он озлоблялся на их неправедность... А в озлоблении нет никогда полной правды, потому что оно ослепляет, – дает «болезнь зрения». И Лесков запутался в оценке целой эпохи, отразившейся в трех его больших романах,<sup>91</sup> самых слабых из всего им написанного.

Тот инстинкт, с которым Лесков потом искал праведных – и который бунтовал в нем при столкновении с нигилистами, – был несовместим с их философией. Это был инстинкт, хотя еще и смутно переживаемый, но явно – религиозный.<sup>92</sup>

Лесков рассматривает в одной из многих своих повестей-мемуаров – в «Юдоли»,<sup>93</sup> как в голодовку 40-х годов, вызвавшую злую холеру, – тетя Полли (одна из праведников) с ее неразлучным другом англичанкой Гильдегардой – обе сектантки-квакерши, устраивали помощь и голодающим, и больным, одни только не растерявшись, – а вечерами после всей тяжелой и опасной работы за долгий день – вдвоем молились. Они стояли, обнявшись, перед открытым окном, «в которое смотрелось небо, усеянное звездами» – и пели простодушную сектантскую песню:

Таков как есть, – во имя крови,  
За нас пролитой на кресте,  
За верой, зреньем и прощением,  
Христос, я прихожу к Тебе.

«Я был поражен и тихой гармонией этих стройных звуков, так неожиданно наполнивших дом наш, а простой смысл дружественных слов песни пленил мое понимание. Я почувствовал необыкновенно полную радость оттого, что всякий человек сейчас же, “таков как есть”, может вступить в настроение, для которого нет расторгающего значения времени и пространства. И мне казалось, что как будто, когда они тронулись к Нему “за верой, зреньем и прощением”, и *Он тоже шел к ним навстречу*, Он подавал им то, что делает иго его благим и бремя его легким...

О, какая это была минута! я уткнулся лицом в спинку мягкого кресла и плакал впервые слезами неведомого мне до сей поры счастья, и это довело меня до такого возбуждения, что мне казалось, будто комната наполняется удивительным тихим светом, и свет этот плывет сюда прямо со звезд, пролетает в окно, у которого поют две пожилые женщины, и затем озаряет внутри меня мое сердце, а в то же время все мы – и голодные мужики и вся земля – несемся куда-то навстречу мирам...»<sup>94</sup>

Христос, идущий навстречу людям, – вот религиозная тема рассказов Лескова – с тех пор, как эпоха смутившего его нигилизма уходила в прошлое, и он все спокойнее и увереннее искал праведников. Это было уже в 70-х годах – когда умственные настроения всего общества или прямо направлялось к религиозным идеям Достоевского, Вл. Соловьева, Толстого или же в среде самих нигилистов происходили такие движения, которые давно изумляют историков общества – своим наружно чисто общественным, народническим характером, а внутренне – тоже, как не раз уже говорилось, – религиозным. А именно массовое хождение русского юношества в народ, в самом своем душевном побуждении, в том экстазе, с которым оно совершалось, – вызывает иногда смешанное определение революции и религиозности.

Та любовь великая, которой были проникнуты русские юноши и девушки, ушедшие в это движение, – напоминали нечто древнехристианское. Атеисты в умах, верившие в Бога, – на самом деле. Но и этого Лесков не увидел. И здесь сказалась «болезнь зрения». Как не увидели этого – ни Достоевский, ни Толстой.

И все же, сами того не сознавая, шли к тому же пониманию правды человеческой – правды Божьей. Шли и отрицали. Искали и не находили. Мучились непониманием – и не понимали. «Болезнь зрения».

Достоевский искал Христа, живой любви – среди людей и намекнул на это в образе кн. Мышкина, но так изысканно, что и до сих пор эта художественная тайна Достоевского не всем очевидна. А увидав людей, обуянных любовью к людям, не заметил среди них никого, – кроме «Бесов». Так и Лесков. И с тем большей страстью стал он искать праведных в другой среде<sup>95</sup> – в других полосах русской жизни.

Мистицизм Лескова питался только отчасти и случайно – сектантскими выступлениями. Гораздо сильнее было на него влияние церковное и монастырское. В семье полудуховного происхождения были сильны православные вкусы. Лескова тянуло и к старообрядчеству. В эпоху нигилизма – против нигилистов Лесков готов был сочувственно ставить идеал монастырского быта, православного благочестия. Тогда он очень близко подходил к славянофильству<sup>96</sup> и собственно, сливался с ними. «Соборяне» самое поэтическое выражение этой связи, – высшая идеализация православия.

Умственное развитие Лескова почти не изучено<sup>97</sup>, и мы не знаем, как произошла ссора Лескова с православием. В старообрядчестве, которым он готов был увлечься, его во всяком случае оттолкнула не столько формальная верность букве, сколько – еще шире, вообще, несвобода духа.

«Дух веет, где хочет»,<sup>98</sup> – он любил эти слова. «У всех напоенных одним духом должно быть одно разумение жизни»,<sup>99</sup> – вот другие слова, которые он знал также твердо. Одно разумение жизни – везде, где веет свободный дух.

Мы не знаем с точностью, как это произошло в подробностях, но Лесков становится, когда в 80-х годах началось властительное влияние Толстого, – толстовцем. Толстовцем в широком смысле. Лесков не расширял понятие праведности. Он уже боится национализма, – т. е. ограничения праведности пределами России, русского быта и русского идеализма, как это в особенности сказало еще до «Соборян» в сказочной красоте «Очарованного странника». <sup>100</sup> Он все чаще выбирает для своих рассказов инородцев, иностранцев, сектантов. <sup>101</sup>

Если он когда-то отказал в праведности нигилистам, теперь он готов искать ее повсюду, – где есть та любовь, которая названа совершенной и изгоняющей всякий страх. <sup>102</sup>

Он все дальше уходит из границ какого-бы ни было консерватизма – и с возмущением жалуется, что его либерализм чистой воды не поняли, не разгадали. Отношение его к Толстому, – влиянию которого он отдается, уже склоняясь к старости, безмерно трогательно – и безупречно. Тем безупречнее и бесспорнее, что «толстовство» Лескова, кажется, нет сомнения, предшествовало толстовству самого Толстого. Но он, упрекаемый со всех сторон и в лукавстве, и неискренности, и в тщеславии, – говорил о своем отношении к Толстому в таких возбужденных словах: «Когда писал Толстой Анну Каренину, я уже был близок тому, что теперь говорю... Я уже копал ту кучу, которую стал и Лев Николаевич копать. Но только у него свет ярче, и я пошел за ним со своей плошкой. У него огромный факел, а у меня мерцает маленькая плошка... Я и тороплюсь за ним! Тороплюсь! Разве это худо, что мы на старости лет заговорили о праведной жизни... О, я радуюсь, что могу идти в настоящее время за Львом Николаевичем, не оглядываясь на прошлое и не укоряя себя им... Знайте, что идеи Толстого каждого уже сделали лучше, чем он был до него! А кто посерьезнее обратится к ним, тот и совсем будет неспокоен в своей яме до той поры, пока не вылезет из нее...».<sup>103</sup>

Относясь к Толстому с таким коленопреклонением, что не позволяло даже хвалить его, – до того Толстой стоял для него выше всяких восхвалений, – он относился, однако, и к толстовству свободно. Толстой был для него, как он выражался «священник Бога вышнего»,<sup>104</sup> – но в том и была для него правда толстовского бога, что это была правда свободная.

И Лесков часто не соглашался с отдельными мнениями Толстого и радовался спору с ним Вл. Соловьева. Он верил не столько в толстовство, сколько в самого Толстого, в его праведность, праведность его великого искания. Он не понимал идеи как таковой, идеи, взятой отвлеченно.<sup>105</sup>

«Идеи, которые некому осуществлять, скверные идеи»,<sup>106</sup> – заметил он в одном разговоре.

И он готов был преклониться перед всяким – и великим и малым, чья идея есть его кровь и плоть, а не отвлеченные соображения, кто способен хоть на одно короткое мгновение поступить праведно. «Знаете, кто был у меня сейчас... перед вами? Третий Иванович Филиппов». Таким возмущением встретил Лесков одного из своих

постоянных посетителей<sup>107</sup> на пороге своей квартиры. Чтобы вы оценили все характерное значение того, о чем рассказал при этом Лесков, укажу на то, что Филиппов – один из его бывших друзей в эпоху борьбы с нигилизмом, с которым он круто разошелся и никогда не встречался, не кланялся. Друг Победо<но>сцева. По должности – государственный контролер. По убеждениям представитель самой определенной реакции. Лесков – уже толстовец, отряхнувший уже давно прах ото всех консервативных порывов(?). Лесков возбужденно продолжал свой рассказ так:

– На пороге этой комнаты он стоял и говорил: вы меня примете, Николай Семенович?

– Ну, и вы виделись?

– И мы виделись... Я сказал ему: прошу, войдите в комнату. – И тотчас же сам стал посредине кабинета, не делая ни шага к нему навстречу.

Лесков изобразил позу, в которой он стоял у себя кабинете и ждал Т. И. Филиппова, пока прислуга помогала последнему раздеваться в передней:

– Я, – продолжал он, – не знал, чем объяснить этот визит и как мне себя держать, и что говорить с государственным контролером. Он вошёл в кабинет и, приблизившись ко мне, сказал: “Я пришёл к вам, Ник<олай> Сем<ёнович>, мириться... Я прочитал вновь ваши произведения, и меня вдруг потянуло к вам. Сегодня прощёный день, и если я чем виновен перед вами, то простите меня. Если уже мириться, то мириться по-настоящему”... Он вдруг опустился на колени вот здесь, посреди этого самого кабинета... Да, представьте мое положение?! Я, впрочем, – продолжал Лесков, – быстро сделал то же самое... Мы обнялись, поцеловали друг друга и заплакали. Я уже не помню, как мы сели за письменный стол. Но я был счастлив...» И затем Лесков рассказал, как они сидели за столом, на котором стояли портреты Гладстона,<sup>108</sup> Л. Толстого, Дарвина и снимки с картин Ге. («Ведь ему, т. е. Филиппову все они противны!»), и как они не знали, о чем говорить, и как потом все-таки хотя и трудом разговорились, поспорили... «Я очень взволнован его визитом и рад, – заключил Лесков свой рассказ. – По крайней мере, кланяться будем на том свете»... И через несколько слов прибавил: “Ведь сколько там встреч ожидает нас, и какие интересные встречи...”<sup>109</sup> Этот разговор прои-

зошел за несколько дней до смерти Лескова, тихо уснувшего<sup>110</sup> навеки 21 февраля 1895 г<ода>.

Лесков верил в эти встречи там, в «поклоны» на том свете, в тот свет – с такой силой простодушия, как будто речь шла о чем-то географическом. И с такой же силой простодушия он верил и в этот свет – как место, где совершается религиозная жизнь, а не просто жизнь. Искание праведников разрешилось к концу жизни Лескова – в ожидание Христа здесь, на земле, среди людей. Как будто вот сейчас откроется дверь, и он войдет, и станет между нами.

У Лескова есть прекрасный рассказ «Христос в гостях у мужика»,<sup>111</sup> почему-то не перепечатанный в собрании сочинений<sup>112</sup>, очень напоминающий народные рассказы Толстого.<sup>113</sup>

Это и есть та вера, к которой Лесков пришел. Ожидание встречи с Христом. Встречи с любовью, воплощенной в жизни, хотя бы в самом обыкновенном и незаметном житье, быте, хотя он на одно неуловимое мгновенье «Где любовь, там и Бог»,<sup>114</sup> как озаглавлен один из народных рассказов Толстого на подобную тему.

В поздней повести «Скоморох Памфалон»,<sup>115</sup> написанной с классическим мастерством, – пустынною Ермию, убежавшему от соблазнов жизни и замурававшему себя в скале, – противопоставлен жизни скоморох Памфалон, зарабатывающий себе деньги кривляньями перед пьяными и развратными людьми. Но он христианин по убеждениям и мечтает о том, как он на свой шутовской заработок когда-нибудь купит участок земли, чтобы начать чистую жизнь. Но каждый раз, когда мечта его бывала уже близка к исполнению, он пожалеет кого-нибудь и отдает последние деньги для спасения другого и опять тянет свою шутовскую ляжку. С кем Христос? – спрашивает Лесков. Кто встретился с Христом, тот, кто встретился с благочестивым Ермием или со скоморохом Памфалоном? И Лесков со страстью отвечает: кто встретился со скоморохом Памфалоном, тот встретился с самим Христом. Это и значит Христос в гостях у мужика.

В повести «На краю света»<sup>116</sup> – встреча с Христом произошла в жизни православного архиерея, миссионерствовавшего среди сибирских инородцев и готового принудительно обращать их в христианство, – так тупо противились они его проповеди. Но Христос-то и оказался среди них, не способных к обращению в христианство. Тупой представитель низшей расы в решительную минуту спасает мис-

сионера-архиерея, который был для него врагом, – врагом всей его глухой свободы и всех его неподвижных привычек, – когда архиерей чуть не погиб в морозной тундре.

Враг-язычник спасает врага-христианина ценой своей жизни. Все это рассказано Лесковым с силой и изяществом – необыкновенными. И я не буду передавать повести во всех ее чарующих чертах, чтобы вы сами ее прочли, может быть, вернувшись домой. – Мысль, кажущаяся фантастической выдумкой, невероятностью, поэтическим бредом, – встреча с Христом, нагляднее всего и убедительнее взята в рассказе «Томление духа», написанным Лесковым для детского журнала.<sup>117</sup> Здесь на нескольких страницах основная тема Лескова достигает точной иллюзии евангельского события. На этой притче или, как любили выражаться о Лескове его критики, «анекдоте» – реальной встрече с Христом я и закончу свою речь. Христос является в ней на одно мгновение в самой будничной и повседневной среде – мелькнул и ушел, но, уходя, обещал прийти еще...

Если это анекдот, то на величайшую из всех тем, что правда человеческая – бессознательно для людей есть правда Божья. Что жизнь людская несознательно для них самих есть жизнь религиозная.

Что Бог любви всегда может оказаться среди нас. Такое неожиданное явление и представлено у Лескова на этот раз, как это ни дико звучит, – в образе немца-губернера Ивана Яковлевича, прозванного смешной кличкой – Коза...

Ив<ан> Як<овлевич> Коза возмутился на то, что дети совершили одно из нередких детских преступлений, они съели в саду запретные сливы, и не только не сознались в своем преступлении, но поклялись не выдавать друг друга. Из-за них был наказан дворовый мальчик, с испугу принявший вину на себя. Его высекли. Один из виноватых не выдержал уговор молчать – и признался Ивану Яковлевичу. – Тогда Коза, страшно возмущенный, подошел к губернаторше, гостившей в доме, сын которой и был главным виновником, и наговорил ей дерзостей, предсказав дурную будущность ее сыну. Губернаторша упала в обморок – и немца выгнали. А дети побежали за ним вслед на дорогу – догнать его и проститься, узнав, что он, забрав свой узелок, пошел пешком.

**Женский вызов<sup>118</sup>**  
**(Памяти Хвоцинской †8 июля 1888 г.<sup>119</sup>)**

Женское литературное творчество до сих пор отделяется, как что-то иное, чем мужское. Действительно ли оно иное? Есть писательницы всемирно известные, но и в их поэзии ищут свойств особых, не мужских. Так было со Сталь, так было с Жорж-Занд. Искали психологии женской, женских точек зрения. Не с жадной любознательностью (потому что вся европейская литература, как и вся цивилизация, – мужская в своей психологии, в своих точках зрения) – но, скорее, с пренебрежительным любознательством. И по большей части писательница должна была преодолевать заранее принятое к себе снисхождение или пренебрежение. С другой стороны – литература мужская уже давно направилась по линии интереса к женскому. Не так как это было еще в древности, когда судьба Федры или Антигоны привлекала внимание настолько же, насколько судьба Ипполита или Эдипа. Но именно – к женскому. Это началось с сентименталистов. В исканьи непосредственных чувств они остановились на чувствах женских и – вот явились Памеллы,<sup>120</sup> Клариссы,<sup>121</sup> Виргинии<sup>122</sup> и Элоизы<sup>123</sup> и до Маргариты.<sup>124</sup> Включительно? Нет. Женщины Пушкина, а затем и Тургенева, и Толстого в сравнении с мужчинами сильнее, потому что страстнее, порывистей, одареннее, человечнее. Женщин Вагнера можно еще объяснить отражением народных сказаний Германии,<sup>125</sup> но женщины Ибсена<sup>126</sup> это уже сознательный вызов великого поэта – удар европейской культуре, жалкой в своем мещанстве потому, может быть, что она – лишь мужская. Сошлись ли общие точки зрения писательниц и тех писателей, которые, начиная с сентиментализма, подняли женщин над мужчинами?

Та писательница, воспоминание о которой еще раз невольно затрагивает этот вопрос, – один из самых неизвестных и лучших наших писателей (а не только писательниц). Я бы прибавил к этим словам – обычные: «к стыду нашему», если бы в моем сознании история нашей литературно-общественной сознательности (не инстинктивности – здесь мы все чуть ли не гениальны!) – не была историей нашего стыда.

Читали ли вы Хвоцинскую? – Кого? – Нет, не знаю. – Хвоцинскую-Зайончовскую?<sup>127</sup> – В первый раз слышу. – Неужели? «В. Кре-

стовский»?<sup>128</sup> – Ах, это – «Петербургские трущобы». – Нет, то Всеволод Крестовский, вообще очень сомнительный. Хвоцинская-Крестовский<sup>129</sup> – это «Большая Медведица»...<sup>130</sup> Ах, читал, читал когда-то. Уж забыл, там какая-то барышня все никак не может – убедить [мужа] развестись со своей женой.

«Большая медведица» самый большой;<sup>131</sup> самый разработанный в своей сути, но даже <нрзб.> все-таки самый художественный из многих романов Хвоцинской, писательницы, за которой лучше всего было бы сохранить в истории это ее девичье имя, а не псевдоним, который смешивается с именем писателя почти вне литературы.<sup>132</sup> Ее замужество (Заиончковский) было очень недолгое, неудачное, и какое-то, по-видимому, случайное, – насколько известно, как и все мало известно в ее жизни.

Она была дочь провинциального чиновника, глубокая провинциалка, – почти до конца жизни прожив, исключая редкие отъезды в столицу, – в родной Рязани. Она знала провинцию. Это и была тема ее жанра – в первых ее романах, писанных еще в конце 40-<ых> годов. Потом – для следующих романов, самых ярких, 60-ых годов – провинция становится только художественным фоном. Тема ее перерастает провинциальный жанр, она становится общественной, притом резко общественной, вызывающей. Лучшими бытописателями русской провинции Николаевского времени был, конечно, Писемский и Салтыков. Писемский – колоритнее, Хвоцинская вдумчивее. Но оба одинаково злы, почти как Салтыков, которого жанр становился всегда откровенной сатирой. Писемского никто не упрекает в женственности, Салтыкова тем более. Хвоцинская ближе всего к ним, а не к Тургеневу или Гончарову. Она женственнее, если принять женственное как нежное. Вынуть из женственного нежное, – значит, вынуть его душу, какие бы еще признаки привходящие не входили в это вечное понятие, вечное явление.

Поэзия Хвоцинской отличается менее всего женственностью. Она не только негодовала, но и любила. Не только негодовал и сам Салтыков. Она писала о людях природы доброй, но или гибнущих от насилия злых, или спасающихся лишь случайно. Негодование было душой ее поэзии. Она всегда обличала, потому что была возмущена, потому что – не принимала, а отрицала. Чем была возмущена? Тем же, чем были возмущены и Салтыков, и Писемский – и до них

Гоголь. Пошлостью, убожеством, мелкотой людишек. Царство Небесное – и кривая рожа России – это коллизия Гоголя. Человечье общество на правде стоящее – и глуповская пошехонская Россия. Это Салтыков. Обыватели, ничтожества, выдающие себя за героическое величие – <sup>(133)</sup> это Писемский. Общество, в котором нет места женщине – и которому имя – отвратительное («В ожидании лучшего»<sup>134</sup>) или еще картинней – сорочье гнездо («Первая борьба»<sup>135</sup>).

Женщина обречена на существование нынешнее(?) – выхода из него нет, пока она не отнесется сверху к тем, кто ее обрекает. Она – «баба» и раба. А как живут господа? Те, кто обрекли? Мужчины – они сами вьют сорочьи гнезда, – если они сильны (в «Первой борьбе») или сидят в сорочьих гнездах, куда их сажают, овладевшие ими женщины, «бабы» – дамы.

При этом обличение Хвоцинской демократично. Отвратительные порождения отвратительного общества, барышни, тоскующие пока они не станут содержанками, их матери-полубарыни, вся мечта которых, – стать настоящими барынями ценой того, что их дочери купят им приличное общественное положение, продавая себя, и с таким приличьем, что никто не назовет это проституцией.

Мужчины, которые, желая жить для себя – и не зная никакой другой святости, уже тринадцати лет уже умеют шантажировать своих богатых родственников, подслушав их дамские тайны, а по восемнадцатому году в погоне за изящной и нарядной жизнью – отдаются влюбленным в них девушкам по денежному расчету.

Вот содержание двух самых замечательных романов Хвоцинской – «В ожидании лучшего» и «Первая борьба». Все дрянь – и женщины, и мужчины, – если понять их как «порождение отвратительного общества», как птенцов «сорочьего гнезда». Те, кто вдали от него, – только те люди, но они гибнут от власти властителей подлости(?). И мужчины, и женщины. И отец героя из «Первой борьбы», и героиня повести – одно из самых живых созданий в нашей литературе.

И мужчины, и женщины – гибнут; и те, и другие – губят. Кто виноват? Те, кто создал, – отвратительное общество. Виновники растленной дворянско-мещанской общественности – мужчины. Культура мужская, а не женская. Вы – нас такими сделали – для ваших же потребностей и надобностей. – Вы хотели, мы и вьем вам сорочьи гнезда.

Вот женский вызов – мужской культуре.

Лиричнее, мягче, женственнее – он брошен в «Большой Медведице». Катерина – не жертва, это женская страсть, тоскующая о мужском как о верующем и деятельном. Но Верховские прочно уселись в гнездах, куда их к посадили высиживать новых птенцов той же дрянной общественности, – их собственное порождение. Женщины – проститутки по своему существу...

Прошли годы, десятки лет. Четверть века от смерти Хвоцинской. Что случилось за эти годы с этим женским вызовом, с этой разрушающей мечтой, которой женщины отвечали тогда на мечту мужскую?

Времена изменились. Идея женского освобождения не отменена, не забыта. Мы давно уже стали настолько культурны, чтобы ничего не отменять, не разрушать. Но постепенно развивать и развиваться. Идея женского освобождения в наши дни явственно видоизменилась. Из гражданской она стала эстетической: мы мечтаем теперь о священном гетеризме.<sup>136</sup>

Мы – мужчины! Чем ответить женщинам? Мужской мечте о «вечно-женственном» – женщина ответила так называемым пробуждением женской личности, женской эмансипацией, иногда очень горьким и злым, но не остановилась на обличении.

Под знаком Большой Медведицы, смутно слыша в потемках откуда-то раздавшийся голос Верховского, Катерина не отзывается на него. И уходит учить крестьянских детей, которые уже давно ждут ее. К детям, в народ.

Чем ответит теперь женщина – на мужскую мечту о священном гетеризме? Или уже ответила.

<sup>1</sup> ИРЛИ, ф. 77, ед. хр. 157. Гиппиус Вл. В. «Смысл кольцовской песни» (1909) (Актовая речь). Машинопись. 18 лл.

<sup>2</sup> Зачеркнуто: *Об этом и хочется сказать в столетнюю годовщину его рождения.*

<sup>3</sup> Стихотворение «Песня» («Если встречу с тобой...») (1827). См.: Полное собр. стихотворений и писем А. В. Кольцова. СПб., 1906. С. 19.

<sup>4</sup> В машинописи – опечатка, было: *можете*.

<sup>5</sup> Ошибка в цитировании. У Кольцова: *взгадывать...* См.: Там же. С. 42.

<sup>6</sup> Ошибка в цитировании. У Кольцова: *Поспевайте...* См.: Там же.

<sup>7</sup> В машинописи опечатка, было: *получу*.

<sup>8</sup> Стихотворение «Песня старика» (1830). См.: Там же. С. 50.

<sup>9</sup> Стихотворение «Веселый час» (1830). См.: Там же. С. 53.

- <sup>10</sup> У Кольцова стиховое деление иное:  
Ворота тесовы  
Растворилися,  
На конях, на санях  
Гости въехали...
- См.: Там же. С. 51.
- <sup>11</sup> Гиппиус передает содержание стихотворения Кольцова «Сельская пирушка» (1830). См.: Там же. С. 51–52.
- <sup>12</sup> Зачеркнуто: *счастье*.
- <sup>13</sup> У Гиппиуса неверно, ср.: На гумна на скирды. См.: Там же. С. 60.
- <sup>14</sup> Стихотворение Кольцова «Песня пахаря» (1831). См.: Там же.
- <sup>15</sup> Ошибка в цитировании. Ср.: Зернышку сготовим / Колыбель святую. См.: Там же. С. 60).
- <sup>16</sup> У Кольцова: Пашенку. См.: Там же.
- <sup>17</sup> Имеется в виду стихотворение Кольцова «Сельская пирушка» (1830). Оно не раз привлекало к себе внимание композиторов. А. И. Дюбюк, П. Г. Чесноков, М. П. Мусоргский, М. М. Ипполитов-Иванов переложили эти стихи Кольцова на музыку, и в виде песни произведение стало называться «Крестьянская пирушка».
- <sup>18</sup> См.: Там же. С. 66–67.
- <sup>19</sup> Стихотворение «Косарь» (1836). См.: Там же. С. 80–83.
- <sup>20</sup> У Вл. Гиппиуса было ошибочно: *нее*.
- <sup>21</sup> Неточность. У Кольцова: Наточу. См.: Там же. С. 81.
- <sup>22</sup> Неточность. У Кольцова: набережью. См.: Там же. С. 82.
- <sup>23</sup> Стихотворение «Дума сокола» (1840) цитируется с неточным делением на строки и без деления на строфы. См.: Там же. С. 140–141.
- <sup>24</sup> Цитируется стихотворение Кольцова «Путь» (1839). См.: Там же. С. 125–126.
- <sup>25</sup> Неточность. У Кольцова: И чтоб. См.: Там же. С. 126.
- <sup>26</sup> Вл. Гиппиус цитирует без деления на строфы стихотворение Кольцова «Песня» («В непогоду ветер...») (1839). См.: Там же. С. 127.
- <sup>27</sup> Цитируется стихотворение Кольцова «Тоска по воле» (1839). См.: Там же. С. 127–128.
- <sup>28</sup> У Кольцова: пододонную... См.: Там же. С. 128.
- <sup>29</sup> Вл. Гиппиус цитирует без деления на строфы стихотворение Кольцова «Расчет с жизнью» (1840). См.: Там же. С. 154–155.
- <sup>30</sup> Видимо, опечатка. У Кольцова: провиденью. См.: Там же. С. 68.
- <sup>31</sup> Вл. Гиппиус цитирует без деления на строфы и с наибольшими неточностями стихотворение Кольцова «Великая тайна» (1833). См.: Там же. С. 68.
- <sup>32</sup> Речь идет о стихотворении Кольцова «Урожай» (1835). См.: Там же. С. 70–73.
- <sup>33</sup> Цитируется дума Кольцова «Божий мир» (1836). См.: Там же. С. 84–85.
- <sup>34</sup> Данная строка у Вл. Гиппиуса пропущена.
- <sup>35</sup> У Вл. Гиппиуса ошибочно: *вера*.
- <sup>36</sup> Цитируется дума Кольцова «Молитва» (1836). См.: Там же. С. 89–90.
- <sup>37</sup> Цитируется с неточностями. У Кольцова: «Прости ж мне, Спаситель...». См.: Там же. С. 90.
- <sup>38</sup> Речь идет о стихотворении Кольцова «Пора любви» (1837). См.: Там же. С. 91–93.
- <sup>39</sup> Цитируется неточно. У Кольцова: ...птичками... См.: Там же. С. 91.
- <sup>40</sup> Речь идет о стихотворении Кольцова «Расчет с жизнью» (1840). См.: Там же. С. 154–155.

<sup>41</sup> Цитируется стихотворение Кольцова «Русская песня» («Много есть у меня...») (8 декабря 1840). См.: Там же. С. 153–154.

<sup>42</sup> Цитируется без деления на строфы стихотворение Кольцова «Русская песня» («Не весна тогда...») (1841). См.: Там же. С. 161.

<sup>43</sup> Цитируется стихотворение Кольцова «Поминки» (12 декабря 1840). См.: Там же. С. 158–159.

<sup>44</sup> Цитируется неточно. У Кольцова: «Темна страшна могила...». См.: Там же. С. 167.

<sup>45</sup> Цитата из стихотворения Кольцова «Из Горация» («Не время ль нам оставить...») (1841). См.: Там же. С. 167–168.

<sup>46</sup> Зачеркнуто: *жизни*.

<sup>47</sup> ИРЛИ, ф. 77, ед. хр. 168. *Гиппиус В. В.* Личность Толстого (б/д). Черновой автограф. 36 лл. Первоначальное заглавие: Драма Толстого (зачеркнуто).

<sup>48</sup> Правильно (*франц.*)

<sup>49</sup> После возвращения из второй заграничной поездки (1860), в мае 1861 Толстой занял должность мирового посредника IV участка Крапивенского уезда Тульской губернии и исполнял свои обязанности в течение девяти месяцев. В этом качестве он составлял письменные отношения в губернское присутствие, в которых представлял интересы крестьян. Подробнее см.: *Бирюков П. И.* Биография Льва Николаевича Толстого. Т. 1. М.; Пг., 1923. С. 236.

<sup>50</sup> Речь идет о повести Толстого Повесть «Казачи» (1862), впервые опубликованной в журнале «Русский вестник» (1863. Т. 43. Январь. С. 5–154).

<sup>51</sup> «Ясная Поляна» – педагогический журнал, издававшийся Толстым в течение 1862.

<sup>52</sup> В 1844 Толстой поступил в Императорский Казанский университет на факультет восточных языков. См.: *Бирюков П. И.* Указ. соч. Т. 1. С. 71–72.

<sup>53</sup> В 1845 состоялся перевод Толстого на юридический факультет Казанского университета. См.: Там же. С. 77.

<sup>54</sup> В 1847 Толстой оставляет Казанский университет. См.: Там же. С. 77–78.

<sup>55</sup> См. прошение Толстого держать экзамен на ученую степень кандидата от 30 марта 1849, поданное на имя ректора Петербургского университета П. А. Плетнева (*Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. В 90 т. Т. 59. Письма 1844–1855 гг. М., 1935. С. 38–39). В мае 1848 он писал брату Сергею: «Я начал было держать экзамен на кандидата и выдержал два хорошо, но теперь переменяю намерение и хочу поступить юнкером в конно-гвардейский полк. Мне совестно писать тебе это, потому что я знаю, что ты меня любишь и тебя огорчат все мои глупости и безосновательность» (Там же. С. 45).

<sup>56</sup> Речь идет о немце-музыканте по имени Рудольф, которого Толстой привез в Ясную Поляну в 1849 и у которого брал уроки музыки. (См.: *Бирюков П. И.* Указ. соч. Т. 1. С. 67).

<sup>57</sup> Речь идет о повести Толстого «Крейцера соната» (1887–1889), впервые опубликованной в издании: Сочинения графа Л. Н. Толстого. 8-е изд.: [в 14 ч., 7 кн.]. Ч. XIII. М.: типография т-ва И. Н. Кушнерев и К<sup>о</sup>, 1890.

<sup>58</sup> См.: в письме, адресованном Т. А. Ергольской от 8 марта 1851: «Прочел недавно в одной книге, что первые признаки весны действуют обыкновенно на моральную сторону человека. – С оживающей природой хочется переродиться самому, жалеешь о прошлом, о дурно использованном времени, раскаиваешься в своих слабостях, и будущее представляется светлым впереди; становишься лучше, нравственно луч-

ше» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 59. С. 90). Впервые отрывок из этого письма (по-французски и в переводе на русский язык) был опубликован в издании: *Бирюков П. И. Лев Николаевич Толстой. Биография*. Т. 1. М., 1906. С. 159–160.

<sup>59</sup> Весной 1851 Толстой с братом Н. Н. Толстым приехал на Кавказ. Осенью 1851 – он сдал экзамен и поступил на службу в 20-ю артиллерийскую бригаду в чине юнкера. См.: *Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого*. Т. 1. М.; Пг., 1923. С. 95–99.

<sup>60</sup> С началом Крымской войны (1853–1856) Толстой был переведен в действующую армию и 7 ноября 1854 прибыл в Севастополь. См.: Там же. С. 127–137.

<sup>61</sup> Речь идет о произведении Толстого: повестях «Детство» (1852), «Отрочество» (1854) и цикле «Севастопольские рассказы» (1855).

<sup>62</sup> Первое путешествие Толстого в Европу продлилось с февраля по август 1857: за это время он посетил Францию, Швейцарию, Италию, Германию. Об этом см.: Там же. С. 188–194.

<sup>63</sup> Имеется в виду повесть Н. В. Станкевича «Несколько мгновений из жизни графа Т\*\*\*» (1834), в сюжете которой главный герой занят отвлеченными поисками истины, а затем, разочаровавшись, переходит к практической деятельности. См.: *Станкевич Н. В. Стихотворения. Трагедии*. Проза. М., 1890. С. 156–173.

<sup>64</sup> Вторая поездка Толстого в Европу продлилась с июля 1860 по апрель 1861. См.: *Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого*. Т. 1. М.; Пг., 1923. С. 213–230.

<sup>65</sup> Выработывая собственные педагогические принципы «свободного воспитания», Толстой опирался на идеи Ж.-Ж. Руссо об идеальной природе ребенка, которую искажают несовершенное общество и взрослые с их искусственной и «фальшивой» культурой. В Европе же в это время царили педагогические принципы регламентации и дисциплины, которые, с точки зрения Толстого, подавляли инициативу и творческое развитие учащихся. Об этом см.: Там же. С. 84–85, 148.

<sup>66</sup> В журнале «Ясная Поляна» Толстой опубликовал целый ряд своих статей. Наиболее значимые из них: «К публике» (№ 1. С. V–VI), «О народном образовании» (№ 1. С. 7–30), «О значении описания школ и народных книг» (№ 1. С. 31–34), «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» (№ 1. С. 35–86, № 3. С. 43–80, № 4. С. 9–26) и др.

<sup>67</sup> Произведенный в мае 1862 обыск, цензурные придирки при издании журнала «Ясная Поляна», обстоятельства личной жизни в связи с женитьбой на С. А. Берс, начало работы над романом «Война и мир» – все это привело к тому, что Толстой в 1862 прекратил свою работу в Яснополянской школе. См.: *Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого*. Т. 1. М.; Пг., 1923. С. 238–239.

<sup>68</sup> Речь идет о романе Толстого «Анна Каренина» (1873–1877).

<sup>69</sup> ИРЛИ, ф. 77, ед. хр. 180. *Гиппиус В. В.* Лесков (б/д); черновой автограф. 32 лл. Комментарии к актовой речи Вл. Гиппиуса «Лесков» сделаны при участии И. В. Мотейуняйте. Помимо публикуемого в данном издании текста актовой речи, творчеству Лескова посвящена и вышедшая в печати статья Вл. Гиппиуса «Н. С. Лесков» (Голос жизни. 1915. № 12. С. 3–4). По всей видимости, она написана позднее актовой речи и в определенном смысле представляет собой ее квинтэссенцию.

<sup>70</sup> Н. А. Лейкин (1841–1906) – русский литератор, журналист и издатель. Его любимый жанр – юмористические сценки из быта простых горожан. См., например, его сб.: *Лейкин Н. А.* Апраксинцы. Сцены и очерки из быта и нравов петербургских рыночных торговцев и их приказчиков полвека назад. СПб., 1904. О Лейкине см. издание: Николай Александрович Лейкин в его воспоминаниях и переписке. СПб., 1907.

<sup>71</sup> Речь идет о «Ежемесячных литературных и популярно-научных приложениях» (1894–1916) к журналу «Нива» (1869–1918).

<sup>72</sup> Г. П. Данилевский (1829–1890) – русский литератор, создававший в первой половине своего творческого пути этнографические повести и романы См., например: «Беглые в Новороссии» (1862) (Полное собр. соч. Г. П. Данилевского. В 24 т. СПб., 1902. Т. 1–2); «Слобожане» (1854) (Там же. Т. 17).

<sup>73</sup> К. М. Станюкович (1843–1903) – русский писатель, известный своими произведениями на бытовую тематику. См., например: «Наши нравы» (*Станюкович К. М.* Полное собр. соч. В 12 т. СПб., 1906–1907. Т. 6); «Картинки общественной жизни» (Там же. Т. 7).

<sup>74</sup> П. И. Мельников-Печерский (1819–1883) – русский писатель, наиболее известный своей романной дилогией, посвященной старообрядчеству. См.: «В лесах», 1871–1874 (*Мельников П. И. (Андрей Печерский)* Полн. собр. соч. В 7 т. СПб., 1909. Т. 2); «На горах», 1875–1881 (Там же. Т. 5). Лескова с Мельниковым-Печерским сближает тема раскола: в 1863 по поручению Министерства просвещения Лесков совершил поездку в Ригу, в результате которой им было написано сочинение «О раскольниках г. Риги» (1863). Перед этой поездкой Лесков встречался с Мельниковым-Печерским. Наиболее известное сочинение Лескова, посвященное старообрядчеству, «С людьми древлего благочестия» (см.: Библиотека для чтения. 1863. № 9. С. 1–58; № 11. С. 1–64). См. также: *Лесков Н. С.* «Народники и расколоведы на службе (Nota bene к воспоминаниям П. С. Усова о П. И. Мельникове) // Исторический Вестник. 1883. Т. XII. Май. С. 415–423).

<sup>75</sup> Речь идет о произведении Лескова «Мелочи архиерейской жизни (Картинки с натуры)» (1878). См.: *Лесков Н. С.* Полное собр. соч. В 36 т. СПб., 1901–1902. Т. 35–36.

<sup>76</sup> Речь идет о произведении Лескова «Соборяне. Роман-хроника» (1866–1872), в котором присутствует сюжетная линия, связанная с раскольниками. См.: *Лесков Н. С.* Полное собр. соч. В 12 т. СПб., 1897. Т. 1–2. С. 1–368.

<sup>77</sup> Ср. с оценкой А. Л. Вольнского: «Это был особенный человек и особенный писатель» (*Вольнский А. Л.* Н. С. Лесков: критический очерк. СПб., 1898. С. 58).

<sup>78</sup> Речь идет о Н. А. Некрасове и его стихотворении «Уныние» (1874). Ср.: «Народ! народ! Мне не дано геройства / Служить тебе, плохой я гражданин, / Но жгучее, святое беспокойство / За жребий твой донес я до седин!» См.: *Некрасов Н. А.* Полное собр. стихотворений. В 2 т. Т. 2. 1873–1877. СПб., 1905. С. 320.

<sup>79</sup> Отсылка к библейскому сюжету о Лоте и судьбе Содомы и Гоморры (Быт. 18).

<sup>80</sup> Эти слова А. Ф. Писемского Лесков приводит в предисловии к своему циклу «Праведники». См.: *Лесков Н. С.* Полное собр. соч. В 12 т. Т. 2. С. 5.

<sup>81</sup> См.: Там же.

<sup>82</sup> По всей видимости, имеются в виду английские историки-романтики Т. Карлейль (1795–1881) и Т.-Б. Маколей (1800–1859), придававшие особое значение личности в истории.

<sup>83</sup> Там же. С. 96.

<sup>84</sup> К какому именно из текстов С. М. Соловьева сделана отсылка Лесковым – установить не удалось.

<sup>85</sup> Отсылка к романам И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1861), И. А. Гончарова «Обрыв» (1869) и Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (1866) и «Бесы» (1872).

<sup>86</sup> Прежде всего, здесь имеются в виду статьи Д. И. Писарева: «Базаров» (1862, первая публикация: Русское слово. 1862. № 3. Отд. II. С. 1–54), «Нерешенный вопрос»

(1864, первая публикация: Русское слово. 1864. № 9. Отд. II. С. 1–44; № 10 Отд. II. С. 1–58; № 11. Отд. II. С. 1–64). Возможно, что к нигилистам, обращавшимся к разбору тургеневского романа, Вл. Гиппиус отнес и М. А. Антоновича, опубликовавшего свою статью «Асмой нашего времени» в журнале «Современник» (1862. № 3. Отд. II. С. 65–121), поэтому его выступление могло восприниматься как редакционный голос данного демократического издания.

<sup>87</sup> Речь идет о герое романа Гончарова «Обрыв». В статье «Уличная философия» (Отечественные записки. 1869. № 6. С. 127–159) М. Е. Салтыков-Щедрин осудил Гончарова за его попытку выдать Марка Волохова за представителя «молодого поколения и тех идей, которые оно внесло и стремилось внести в нашу жизнь» (Отечественные записки. 1869. № 6. С. 135). Со Щедриным солидаризовались в своих публикациях другие критики. См., например: *Шелгунов Н. В.* Талантливая бесталанность // Дело. 1869. № 8. Отд. II. С. 1–42.

<sup>88</sup> Речь идет о романе Лескова «Некуда» (1864). См.: *Лесков Н. С.* Полное собр. соч.: в 12 т. Т. 4.

<sup>89</sup> Здесь можно вспомнить, как очерк Лескова «Загадочный человек» (1870), посвященный русскому революционеру Артуру Бенни (см.: Там же. Т. 8. С. 3–127), так и роман «Некуда» (образ Лизы Бахаревой), где, в отличие от других его произведений, образы нигилистов даны не карикатурно.

<sup>90</sup> В статье «Николай Гаврилович Чернышевский в его романе “Что делать”», опубликованной в «Северной пчеле» от 31 мая 1863 (№ 142), Лесков высказался о романе «Что делать» довольно двойственно: из текста статьи вытекает, что ее автор программно не согласен с Чернышевским, но при этом не отрицает и пользы, которую несет роман.

<sup>91</sup> Имеются в виду романы Лескова «Некуда» (1864) (*Лесков Н. С.* Полное собр. соч. в 12 т. Т. 4); «Обойденные» (1865) (Там же. Т. 3. С. 1–346); «На ножах» (1870) (Там же. Т. 8–9).

<sup>92</sup> В этом Вл. Гиппиус был созвучен с С. Н. Дурылиным. См. название первого доклада Дурылина о Лескове: «Николай Семенович Лесков. Опыт характеристики религиозного творчества» (1913), прочитанного им 1 декабря 1913 на закрытом заседании Общества памяти Вл. Соловьева в Москве.

<sup>93</sup> Речь идет о рассказе Лескова «Юдоль. Рапсодия» (1892). См.: Там же. Т. 11. С. 149–258.

<sup>94</sup> Там же. С. 242–243.

<sup>95</sup> Позже эту черту отметит и М. Горький во вступительной статье к изданию: *Лесков Н. С.* Избранные сочинения в трёх томах. Т. I. Берлин; Пб.; М.: изд. З. Гржебина, 1923. С. 8–10. В случае с Горьким это совпало с требованиями эпохи видеть в революционерах праведников.

<sup>96</sup> Данная оценка Вл. Гиппиуса не вполне точна. В действительности, Лесков «близко подходил к славянофильству», скорее, в своей программе, но далеко не во всем в своей художественной практике. Так, в 1870 Лесков предлагал «Соборяну» С. А. Юрьеву для публикации в журнале «Беседа», однако предложение было отклонено как несоответствующее программе журнала.

<sup>97</sup> Данная формулировка Вл. Гиппиуса предлагает расширить поле восприятия Лескова: современники, как правило, оценивали новизну его тематики (изображение праведников) и его стилистический талант, однако не воспринимали его в качестве самостоятельного мыслителя. Например, в своем обширном критическом очерке «Н. С. Лесков» (СПб., 1898) Вольнский отказывал ему в «умственной цельности»:

«Не присоединяясь ни к Чернышевскому, ни к Каткову, он мог бы явиться носителем идей, имеющих право на самостоятельное существование. Но такого независимого положения Лесков, по отсутствию нравственной выдержанности и умственной цельности, занять не мог»; «Потеряв свое непосредственное религиозное вдохновение в народном духе и самолюбиво озабоченный мыслью о примирении с разнообразными передовыми силами, он окончательно запутывался в умственных противоречиях» (*Волинский А. Л.* Н. С. Лесков. Критический очерк. СПб., 1898. С. 16, 168). Ему вторила и Л. Гуревич в своей мемуарной заметке: «Рационалист по духу и злой скептик по отношению ко всему, к чему он приближался, он не мог примкнуть ни к одной группе людей, объединенной какими-либо определенными догматами. Не будучи теоретическим мыслителем, он не умел создать себе вполне самостоятельного религиозного мирозерцания, и, побуждаемый своими высшими инстинктами, он искал, находил, критиковал – и уходил искать лучшего. С наблюдательностью крупного художника присматриваясь ко всем особенностям людей, с которыми временно соединяли его верования, он все отмечал, запоминал, накапливал в своей душе кладези редких и драгоценных знаний, которые остались далеко неиспользованными в его литературной деятельности» (*Гуревич Л. Я.* Из воспоминаний о Н. С. Лескове (По поводу его смерти) // Гуревич Л. Литература и эстетика. Критические опыты и этюды. М., 1912. С. 300). Описывая искания Лескова, критики не увидели его принципиальной полемичности к существующим направлениям мысли. Лесковский метод формирования мировоззренческих установок словно «от противного», свойственный многим автодидактам (Лесков не закончил университета), они принимали за его слабость. Подчеркнув значение «умственного развития» Лескова, требующего специального изучения, Гиппиус в этом отношении проявил большую долю проницательности.

<sup>98</sup> Ин. 3: 8.

<sup>99</sup> Отсылка к Первому посланию к Коринфянам св. апостола Павла: «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12: 13).

<sup>100</sup> Речь идет о произведении Лескова «Очарованный странник, его жизнь, опыты, мнения и приключения» (1872–1873). См.: *Лесков Н. С.* Полное собр. соч. В 12 т. Т. 2. С. 281–432.

<sup>101</sup> Здесь Вл. Гиппиус отметил ту сторону творчества Лескова, на которую критики до него практически не обращали внимания, подчеркивая сосредоточенность Лескова на исследовании творческого духа русского народа. См., например, характеристику Л. Гуревич: «Ему импонировали только простые, мощные характеры, цельные натуры людей из народа, и с каким-то суровым вдохновением он нарисовал несколько таких почвенно-русских типов, необычайно прекрасных по силе, оригинальности и правдивости» (*Гуревич Л.* Из воспоминаний о Н. С. Лескове. (По поводу его смерти). С. 299).

<sup>102</sup> Отсылка к 1 Ин. 4:18.

<sup>103</sup> Письмо Лескова к А. С. Суворину от 28 декабря 1885 (*Лесков Н. С.* Собр. соч. В 11 т. М., 1957. Т. 11. С. 58).

<sup>104</sup> Быт. 14:18.

<sup>105</sup> Поэтика Лескова действительно основана на показе практики жизни. И его полемичность против всякого умственного «направленчества» тоже отсюда. См. примеч. 97.

<sup>106</sup> См.: *Фаресов А. И.* Против течений. Н. С. Лесков. Его жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нем. СПб., 1904. С. 89.

<sup>107</sup> Имеется в виду первый биограф Лескова – А. И. Фаресов (1852–1928), который и записал приведенный Вл. Гиппиусом рассказ Лескова о Тертии Ивановиче Филиппове. См. примеч. 109.

<sup>108</sup> В.-Э. Гладстон (1809–1898) – известный английский государственный деятель и писатель по вопросам религии и церкви.

<sup>109</sup> *Фаресов А. И.* Третий Иванович Филиппов. СПб., 1900. С. 85–87; *Фаресов А. И.* Против течений. СПб., 1904. С. 132–142.

<sup>110</sup> Тишина его кончины действительно поразила свидетелей. Л. Я. Гуревич отмечала в своих воспоминаниях: «Меня поразило то обстоятельство, что он умер тихо, без агонии» (*Гуревич Л. Я.* Из воспоминаний о Н. С. Лескове (по поводу его смерти). С. 295). См. также: *Борхсенцус Е. И.* Мои воспоминания о Николае Семеновиче Лескове // В мире Лескова. М., 1983. С. 349.

<sup>111</sup> Речь идет о рассказе Лескова «Христос в гостях у мужика» (1880). Первая публ.: *Игрушечка*. 1881. № 6. Январь. С. 1–12.

<sup>112</sup> Имеется в виду следующее издание: *Лесков Н. С.* Полное собр. соч. В 36 т. В 12 кн. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1902–1903. (Прилож. к журналу «Нива»).

<sup>113</sup> «Народные рассказы» – один из опытов создания Толстым народной литературы, т. е. общечеловеческой, одинаково адресованной читателям всех сословий. Толстой написал всего 22 «народных рассказа». См.: Сочинения гр. Л. Н. Толстого. Ч. 12. М., 1886. В своей ранней статье Вл. Гиппиус, оценивая «народные рассказы» Толстого с художественной точки зрения, ставил их невысоко: «Вторая половина деятельности Толстого – мы говорим о его народных рассказах <...> – несомненно указывая на явный упадок его таланта» (*Гиппиус Вл.* Золотой век. Из писем к иностранцу. С. 118).

<sup>114</sup> Рассказ «Где любовь, там и бог» (1885), входит в цикл «народных рассказов» Толстого. См.: Сочинения гр. Л. Н. Толстого. Ч. 12. С. 37–45.

<sup>115</sup> Повесть «Скоморох Памфалон» (1887). См.: *Лесков Н. С.* Полное собр. соч. В 12 т. Т. 10. С. 144–210.

<sup>116</sup> Повесть «На краю света» (1875). См.: Там же. Т. 1. С. 369–448.

<sup>117</sup> Рассказ «Томленье духа» (1890) был впервые опублик. под заглавием «Коза» в издании: *Игрушечка*. 1890. № 2. С. 13–17. Заглавие рассказа перекликается с заглавием сб. стихов Вл. Гиппиуса, вышедшего в 1916 – «Томление духа».

<sup>118</sup> ИРЛИ, ф. 77, ед. хр. 167, *Гиппиус В. В.* Женский вызов (Памяти Хвоцинской †8 июля 1888 г.) (б/д); черновой автограф. 16 лл.

<sup>119</sup> Н. Д. Хвоцинская ушла из жизни 8 (20) июня 1889. Статья посвящена 25-ой годовщине со дня смерти писательницы и написана, по всей видимости, в 1913–1914. Статья была предназначена для журнала «Дамский мир» (1907–1917), но, по всей видимости, так и не была там напечатана. Впервые опубликована: *Гиппиус В. В.* Женский вызов / Публ. Е. Строгановой // Женский вызов: русские писательницы XIX–начала XX века / Под ред. Е. Строгановой и Э. Шоре. Тверь, 2006. С. 308–313. Для настоящего издания статья Вл. Гиппиуса была сверена с автографом и публикуется с исправлением ряда неточностей, допущенных при первой публикации.

<sup>120</sup> Главная героиня романа английского писателя С. Ричардсона «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740).

<sup>121</sup> Главная героиня романа Ричардсона «Кларисса, или История молодой леди» (1748).

<sup>122</sup> Главная героиня романа французского писателя-сентименталиста Б. де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» (1788).

<sup>123</sup> Главная героиня романа французского писателя Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).

<sup>124</sup> Возможно, имеется в виду главная героиня романа русского писателя-сентименталиста и романтика Г. П. Каменева «Несчастливая Маргарита» (1803).

<sup>125</sup> Р. Вагнер в своих музыкальных произведениях воплощает образы сильных, властных женщин: образ Кундри, ведущей свое происхождение из кельтской мифологии, в опере «Парсифаль» (1882); образ Брунгильды, происходящей из германо-скандинавской мифологии, в «Валькириях» (1856) и др.

<sup>126</sup> Имеются в виду прежде всего женщины, внешне холодные, а внутренне – страстные; женщины, бросающие вызов обществу, в пьесах Г. Ибсена: Нора из «Кукольного дома» (1879), Гедда из «Гедды Габлер» (1891), Гильда из «Строителя Сольнеса» (1892).

<sup>127</sup> Н. Д. Хвоцинская (1821–1889) в замужестве – Зайончковская. См. о ней: *Цебрикова М.* Очерк жизни Н. Д. Хвоцинской-Зайончковской (В. Крестовского псевдонима) // Мир Божий. 1897. № 12. С. 1–40. *Коробка Н. И.* Хвоцинская-Зайончковская, Надежда Дмитриевна // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В 86 т. СПб., 1903. Т. XXXVII. С. 145–147.

<sup>128</sup> Всеволод Владимирович Крестовский (1839–1895) – русский литератор, автор популярного авантюрного романа «Петербургские трущобы» (1864). См.: *Крестовский В.* Петербургские трущобы. Роман в 6 ч. Т. 1–4. СПб., 1867.

<sup>129</sup> В. Крестовский – один из псевдонимов Н. Д. Хвоцинской.

<sup>130</sup> Роман «Большая медведица» (1872) Хвоцинская опубликовала под псевдонимом В. Крестовский. См. первую публикацию: Вестник Европы. 1870. № 3. С. 5–71; № 4. С. 580–647; № 7. С. 5–59; № 8. С. 574–612; № 9. С. 5–59. Отд. издание: *Крестовский В.* Большая медведица. Роман в 5 ч. СПб., 1872.

<sup>131</sup> Далее зачеркнуто: *может, самый определенный по замыслу*...

<sup>132</sup> Псевдоним Хвоцинской оказался идентичным имени писателя В. В. Крестовского.

<sup>133</sup> Зачеркнуто: *сорочье гнездо* («Первая борьба»).

<sup>134</sup> Речь идет о повести «В ожидании лучшего» (1857–1860). См.: *Крестовский В.* (Хвоцинская Н. Д.). Собр. соч. В 5 т. СПб., 1892. Т. 3. С. 83–228.

<sup>135</sup> Речь идет о повести «Первая борьба. Из записок» (1869). См.: Там же. С. 397–484. Понятие «сорочье гнездо» в повести подразумевает паразитически-обывательское, беспринципное поведение мужского персонажа в повести.

<sup>136</sup> Термин гетеризм был введен швейцарским этнографом И. Я. Бахофеном (1815–1887) в труде «Материнское право» («Das Mutterrecht», 1861) для обозначения свободного полового общения, практиковавшегося в древних культурах.